



rocket**book**

Константин ФЕДИН

Города и годы



Pocket book (Эксмо)

Константин Федин

Города и годы

1924

Федин К. А.

Города и годы / К. А. Федин — 1924 — (Pocket book (Эксмо))

ISBN 978-5-04-117377-7

Константин Александрович Федин (1892 – 1977) – русский советский писатель, лауреат Сталинской премии первой степени за романы «Первые радости» (1945) и «Необыкновенное лето» (1947–1948). В 1921 году Федин входит в содружество «Серрапионовы братья», исповедуя реалистические традиции русской классики. Его литературный талант ценили Борис Пастернак, Стефан Цвейг и Максим Горький, с которыми Федина связывали дружеские отношения. Роман "Города и годы" был впервые опубликован 1924 г. Действие романа происходит во время Первой мировой войны, революций, Гражданской войны. Главный герой Андрей Старцов, художник и интеллигент ушедшей эпохи, "лишний человек" своего поколения. Он ощущает себя «соринкой среди громадных масс двигавшихся машиноподобно неизбежностей». "Прочитав «Города и годы», можно... не то чтобы больше ничего не читать об империалистической войне и революции, но как-то сразу обо всем получить представление. Пожалуй, роман Федина – наиболее удачный (в смысле наглядности) пример романа на знаменитую тему «Интеллигенция и революция»: что делать во время революции человеку, который не хочет убивать" – © Дмитрий Быков

ISBN 978-5-04-117377-7

© Федин К. А., 1924

Содержание

Глава о годе,	5
Речь	5
Письмо	7
Формула перехода	9
Глава первая	10
Петербург	10
Окопный профессор	15
Конрад Штейн	21
Клубок	32
Глава	41
Центрифуга Амура	41
Когда, собственно, началась мировая война	46
Dichtung und wahrheit[5]	51
Цветы	60
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Константин Федин

Города и годы

У нас было все впереди, у нас не было ничего впереди.

Чарльз Диккенс

Что касается вина, то он пил воду.

Виктор Гюго

Глава о годе, Которым завершён роман

Речь

– Дорогие соседи, добрейшие обыватели, почтенные граждане! Я высунулся из окна с заранее обдуманном намерением: мне скучно, дорогие соседи, меня грызет тоска, почтенные граждане, сердце мое ссохлось и свернулось штопором, как лимонная корка на раскаленной солнцем мостовой.

Почтенные обыватели! Это верно, что на дворе тысяча девятьсот двадцать второй год.

Передо мной восемьдесят пять окон, не считая двух чердачных, одного подвального, одного, искусно нарисованного на стене маляром довоенного времени, и того, в котором все вы можете различить верхнюю часть моей фигуры.

Я мог бы рассказать вам о каждом из этих окон, но я знаю – вы не будете меня слушать. Поэтому прошу вас обратить свои взоры только на окно вон там, внизу, где развалилась поло-сатая перина, которую поутру отчаянно колотила ружейным шомполом краснорукая хозяйка. И еще на окно вон там, правее, откуда с утра до ночи сыплется брэнчанье домры; и еще на то, в самом верху, под чердаком, где непрестанно отхаркивает романсы граммофон; и еще на одно, последнее, что прямо против меня и так свежо прошпаклевано: завтра его будут красить.

Почтенные граждане! Республика в конце концов не плохая штука. В республике можно выбивать перины и проветривать их на солнышке, без опасения, что к вечеру придется постлать семейное ложе одним перинным чехлом. В республике можно иметь музыкальный слух и обучаться игре на домре. Совершенно очевидно, что образ правления государства никак не отражается на добротности граммофонных пластинок. И наконец, республика сравнительно легко усвоила, что крашенные оконные рамы отменно противостоят ветрам и непогоде.

Дорогие соседи! Стоит ли говорить, что из восьмидесяти пяти окон нашего колодца только одно мое не украшено сверточками с сыром и колбасой, горшочками со сметаной и простоквашей, кастрюльками, молочниками, масленками, густо-зеленым луком и ядрено-малиновой редиской. Даже крайнее чердачное окно, величиной всего с какую-нибудь фортку, перещеголяло мой запаутиненный, пустой подоконник, неприкосновенно сохранив малоделикатный след когта Матроса моей почтенной хозяйки.

Теперь белые ночи, и в нашем колодце отдыхает пропотевшее за день лето. Восемьдесят пять окон открыты настежь. Я воспользовался этим, чтобы произнести вам свою речь, – вам, гражданин граммофонщик, и вам, соседка, показавшая свою перину, и вам, владельцы кастрюлек, масленок, горшков и редиски, – всем, кто высунул наружу головы и слушает мой упругий голос.

О, не пугайтесь: речь моя не затянется. Мне хотелось предложить вам один вопрос, всего один, – и я кончу.

Добрейшие обыватели, почтенные граждане! Это верно, что на дворе двадцать второй год. Это верно, потому что мы кушаем сметану и простоквашу, учимся играть на домре и проветриваем перины. Это верно, потому что против перечисленных занятий, как ни мало они революционны, республика не возражает. И, почтенные граждане, не кажется ли вам...

На этом месте речи в гул голоса, качавшийся в каменной коробке смежных домов, врезался окрик:

– Андрей!

Человек в расстегнутой на груди рубахе перестал говорить и посмотрел туда, откуда раздался окрик. Потом вдруг отшатнулся в глубину комнаты, вновь подбежал к окну, высунулся до пояса, притупившимся голосом спросил:

– Какой номер квартиры?

– Встретимся на улице! – упало в колодец.

Андрей, как был – незастегнутый, трепаный, – выбежал из комнаты.

Хозяйка заперла за ним дверь, выглянула в колодец и, окинув одним взглядом восемьдесят пять окон, пролепетала запрыгавшими губами:

– Я давно думала, что он помешался! О, это ужасно!

Письмо

Дорогая моя.

Вот я опять пишу тебе и опять не знаю, что нужно сказать. Я боюсь больше всего, что ты разорвешь письмо, как только узнаешь мой почерк.

Или нет. Я боюсь больше всего, что пишу мертвой. Что ты – мертвая. Я не так выражаюсь: что ты умерла уже, а я пишу тебе.

Мари, моя маленькая, мне стало ясно одно. Помнишь, раньше мне многое представлялось ясным. Сейчас одно: мне нужно сесть с тобой рядом и рассказать все по порядку. Я как-то не могу припомнить все по порядку. Ясно одно, что если ты меня выслушаешь, то я все пойму, и ты не будешь больше кричать, как тогда, два года назад. Как ты кричала тогда, Мари...

Я что-то путаю.

Погоди, я похожу по комнате и подумаю, как проще сказать самое нужное, Мари...

Да. Мне кажется, ты поймешь меня, если я расскажу... или нет, сначала вот о чем.

Весь сумбур (я думаю, нашел бы силы написать как следует письмо, если бы не это), весь сумбур оттого, что я решил... Мари, я не знаю, что со мной! Я еду к тебе. Я решил. Я не могу больше. Все равно. Я заткну уши и убегу. Пусть вопят, умирают, пусть! Я должен к тебе.

Курт – настоящий человек. Я встретил его сегодня здесь, в Петербурге, совсем неожиданно. Он берется довезти меня, то есть помочь мне. Он узнал меня по голосу, хотя это было при странной обстановке. Вообще, со мной неладно. Курт сразу сказал, что мне надо переменить климат. Я, конечно, ни слова о том, что хочу увидеть тебя. Согласился насчет климата. Мне, Мари, немножко смешно, когда говорят о климате, о нервах. Хотя я очень устал. А Курт не устает.

Дело в том, что...

Я перечитал начало. Вот мой рассказ. Мне вспомнилось, как я зимой натолкнулся на собачонку, которая царапала передними лапами запертую дверь. Хозяин собачонки спал, что ли, а может, не хотел открывать двери: была вьюга. Я подошел к двери и увидел на притоптанном снегу красные следы собачьих лапок. Собачонка, царапая дверь, раскровенила себе лапы.

Она не могла понять, что вовсе не нужна на этом свете.

Я это понимаю. То есть про себя...

13 июня, утро.

Сегодня у меня был Курт. Мы условились окончательно. Я еду к тебе, Мари!

После его ухода мне стало спокойно. У него хорошие руки, плечи, рот. Комната в его присутствии приобретает смысл. Мне сразу стали приятны и нужны стол, кровать, окна. Курт – хорошо организованный человек. Я перечитал написанное вчера. Посылаю тебе: смотри, какой я теперь. Там – верно насчет собачонки.

Я, конечно, виноват перед тобой. Но я не виню себя в том, что тебе кажется, наверно, самым тяжелым проступком против тебя, против нас.

Мне действительно нужно установить какой-то порядок. Во мне все спуталось. Я не знаю, где же именно и когда я непоправимо сбился, или налгал, или ошибся. В последних событиях (то есть до того, как ты приехала сюда и потом исчезла, – дальше ведь не было никаких событий) я не нахожу связи. Может быть, она и есть. Это какой-то клубок, все эти годы.

Насчет собачонки.

Я всю свою жизнь старался стать в круг. Понимаешь, чтобы все в мире происходило вокруг меня. Но меня всегда отмывало, относило в сторону.

Попусту раскровенился.

Я это понял вот на чем.

Сначала, однако, еще два слова. Недавно я хлопотал о каких-то бумагах. Мне задали вопрос: «Ваша профессия?» Я не мог ответить. Мне вдруг пришло в голову: к какой профессии готовился я прежде? Я сбился, вышло глупо.

Ты понимаешь, я все время боюсь забыть свою мысль, боюсь сбиться.

Я проходил торговыми рядами. Заглянул в какие-то ворота. Толстые крепостные стены ушли в землю. На дверях складов – ржавые замки. И по всему двору лебеда, крапива, лопухи, железные обручи, щебень. Как на пустыре.

Меня сжала тоска. Против воли. Это так безотрадно и нудно. Я думал о каком-то всеобщем конце. У меня похолодели руки.

Но я все еще... словом, я не переставал царапать...

И вот всего на этих днях, под Москвой, с Поклонной горы один приятель показал мне на новую радиостанцию. Башню выстроили во время революции. Она сначала обрушилась. Ее вывели снова. Негодными инструментами, закусив губы. Вывели. Волны ее достигают Америки.

– Знаешь, – сказал мне мой приятель, – мы теперь выстроим станцию, волны которой опояжут весь земной шар. Москва подает – Москва принимает. Вокруг света.

Я тогда подумал, что это глупо. Но тут же посмотрел ему в лицо...

Словом, я бросил царапать...

Это бесплодно, бесплодно, черт побери! Добрая воля, любовь, желание – всего этого слишком мало. А потом – этого вовсе и не нужно. Чтобы есть и пить, не нужно ни доброй воли, ни любви. Эти люди, в сущности, делают не больше того, что они должны делать по природе. Они ничего не замечают под ногами, они вечно – вперед и вверх. И с таким напряжением, точно они не люди, а какие-то катушки, румкорфовы катушки. Если им сказать про ржавые замки, лебеду и щебень, они ничего не поймут. Они в круге; наверно, в центре круга.

Меня пронизывает мысль, что я пишу мертвой. Если это так, я воскрешу тебя, чтобы ты поняла, что я не лгал.

Моя вина в том, что я не проволочный.

Ты должна понять меня, Мари.

Андрей.

Формула перехода

Комитет состоял из семерых. Все пристально следили за Куртом, который говорил; даже секретарь каждую минуту отрывался от стенограммы и собирал на лбу треугольник мелких морщин, точно прислушиваясь к тому, что должно было происходить где-то за пределами комнаты. На председательском месте сидел человек в толстых очках, фокус которых ни разу не переместился, пока Курт говорил.

Курт стоял прямо против председателя, уткнув кулаки в стол и коротко потряхивая головой в конце каждой фразы. Говорил он без запинки, будто читал по книге; и речь его была книжной. Крупинки пота обметали его верхнюю губу.

– Я резюмирую, – сказал он. – Этот человек находился в состоянии нравственного упадка в тот момент, когда признался мне в своем преступлении. Насколько я мог наблюдать, его умственные силы были также расшатаны. Я знал, что все это было результатом тяжелого потрясения в его личной жизни. Поэтому я отнесся к его признанию с большой осторожностью. Но я приучил себя мыслить объективно и действовать сообразно выводам разума. Моя память последовательно восстановила все мои встречи с этим человеком в Семидоле, факты его личной жизни, связанные с маркграфом, наконец обстоятельства исчезновения маркграфа из Германского совета солдатских депутатов в Москве. Фактический ход событий совпал до мельчайших подробностей с тем, что я услышал от этого человека во время его последней прогулки. Он признался мне, между прочим, что собирается разыскать маркграфа, потому что это единственный человек, который может что-нибудь знать о его возлюбленной. Сомнений не оставалось: по личным мотивам он спас жизнь нашему врагу и предал дело, которому мы все служим. Как человек он мне стал ненавистен, как друг, – я был его другом, – отвратителен. Я убил его. На другой день я справился о маркграфе. Он действительно пребывает благополучно в своем замке под Бишофсбергом и, как подобает неудавшемуся авантюристу, служит посильно родному искусству, спекулируя на картинах немецких мастеров. Ошибки не произошло. Полиция считает, что убийство совершено с уголовной целью. До сообщения этого дела комитету я не нашел нужным опровергать такой версии. Я подчинюсь вашему решению.

Курт кончил, точно захлопнул прочитанную книгу.

Председатель обернулся поочередно ко всем заседавшим.

– Вопросов нет?.. Товарищ Ван, потрудитесь удалиться.

Курт вышел. В смежной комнате он обтер платком лицо, раскурил сигару и уселся поудобнее в кресло, приготовившись к ожиданию. Синие полосы дыма, увязая друг в друге, закачались посреди комнаты. В них раскрылся чей-то рот, скрюченная пятерня медленно обернулась пальцами снизу в бок, к ней приросла рука, согнутая в локте, потянулась к Курту.

– Глупости! – проворчал он и с силой подул на дым. Синие полосы нанизались воронками на струю воздуха и пропали.

– Товарищ Ван!

Семь человек в прежнем порядке сидели за столом. Председатель навел очки на секретаря. Тот приподнял бумаги и огласил:

– «...заслушав сообщение товарища Курта Вана, единогласно постановил: считать образ действий названного товарища правильным, дела в протокол не заносить, стенограмму уничтожить и перейти к очередным делам».

Секретарь согнул бумагу надвое и разорвал ее.

– Садитесь, товарищ, – сказал председатель.

Курт придвинул стул. Он был спокоен и прост, как будто не сомневался, что услышит такое приглашение.

Глава первая О девятьсот девятнадцатом

Петербург

Человеку надо прожить долгую жизнь без неба, без прямых, широкогрудых ветров, вырасти в сомкнутом строю железных столбов, провести детство на чугуне лестниц и асфальте мостовых, чтобы стать в городе как лесовик в лесу.

Нога знает, когда под ней железный рельс, когда гнилые торцы, когда скользкий и звонкий цемент. И ухо узнаёт, куда падает с крыш дождевая вода и на что наскочил, разорвавшись, внезапный порыв ветра.

Человеку, которому город – как лесовику лес, не надо света. Он помнит каждый угол, знает всякую улицу и все дома, старые и новые, разобранные на топку, забитые, заброшенные и недостроенные.

Особенно – недостроенные. Заборы у таких домов давно исчезли. Но кое-где внутри застывшего кирпичного остова торчат остатки свай, валяется наполовину засыпанное щебнем бревно или не сорван шест с набитым на него деревянным крестом.

Об этих сваях, бревнах и крестах не мешает запомнить на третий год нового летосчисления.

На третий год нового летосчисления, в конце октября, над Петербургом висела тьма. С северо-запада гнал тьму со свистом и гулом мокрый, косоплечий ветер.

Петербург шелушился железной шелухой, и шелуха со звоном билась по крышам и падала, скрежеща, на каменные днища улиц.

Внизу было темно, как в туннелях.

Дома вымерли, дома провалились, домов не было. Пересекались, тянулись во тьме безглазые, мокрые бока туннелей.

И по мокрым, безглазым бокам туннелей и по каменным днищам их с визгом и звоном неслась железная шелуха. Косыми плечами мял ветер каменный город, сдирал ошметками сношенную кожу, швырял ею в промозглую тьму.

Белые обезьяньи лапы автомобиля цапали омертвевшие, сочившиеся холодом бока туннелей, пропадали так же стремительно, как появлялись. И только околевающим шакалом выла автомобильная сирена.

Человек, едва отличный от камня, из которого были выложены туннели, нащупывая углы и выступы, подгоняемый ветром, легко и быстро скользил по лужам. Вот он слился с черной стеной, точно войдя в ворота. Вот ощупью взобрался на склизкий холмик. Спустился в яму. Пролез в коридор, узкий, как могила. Над головой его мерно бился о камень треснутый лист кровельного железа.

Человек вынул из кармана газету, прикрыл ею плечо и грудь, нащупал в углу коридора ношу, взвалил на себя, осторожно пополз назад.

Коридором, ямой, холмиком, сквозь черную стену – в промозглую тьму туннелей, и дальше – промозглой тьмою, подгоняемый ветром, скользя по лужам.

Человеку, которому город – как лесовику лес, не надо света.

Человек нашел ворота, дверь, лестницу, еще дверь. Там скинул ношу с плеча, достал один ключ, другой – французский, третий – очень длинный, с шарниром посередине, патент инженера Тубкиса, – по очереди открыл замки.

В кухне зажег лампочку «экономия» (четверть фунта керосина в неделю), разделся. Примерил пальцами: бревно можно распилить на четыре части по восемь вершков, каждый кусок расколоть на раз, два, три... – восемь полен. Два восьмивершковых полена – кипяток для кофея. Шестнадцать раз. Это хорошо.

– Черт его знает сколько еще протянется эта канитель. Шестнадцать раз...

Когда повернул бревно – записка. Наклеена гладко рыжим тестом. Писана чернильным карандашом. Карандаш расплылся, потек:

Готовлю по-французски и немец, во все классы трудовой школы. Цены умеренн.

ПЕТРОЗАВОДСКАЯ, 17, кв. 3.

Там же штотка и надвязка чулок. А также имеются кролики.

Покачал головой, сказал громко:

– До чего довели интеллигенцию, а?

Отнес и поставил бревно в чуланчик.

Открыл шкаф, вделанный в стену. Из банки с пшеном вынул тряпочку. Из бумажного картуза пересыпал в банку пшено, прикрыл тряпочкой. На банку положил булжжик, круглый, как колобок.

– Мыши. Сволочи.

Растопил железную печку. Вскипятил воду, поставил на сковороде пшеницу – жарить. Кипятком мыл кастрюлю из-под супа и тарелку. Потом мыл раковину водопровода мочалкой и тертым кирпичом. Френч снял. Рукава рубахи засучил по локоть. Когда завоняло гарью, бросил мыть раковину, схватился за нож, отскабливая от сковородки пригорелые зерна, раз пять сказал:

– Кофей. Сволочи.

Потом смотрел в шкаф. В банках была пшеница, рожь, крупа ячневая, пшенная и гречневая, селедки. В бутылках – масло льняное и подсолнечное. В мешке холщовом – вобла. В мешках бумажных – соль, лавровый лист, желатин. Желатину было фунта три. Сказал:

– Желатин, а?

Взял книжку Мопассана – «Избранник госпожи Гюссон», пододвинул лампочку. Надел френч, вычистил ногти перочинным ножом, сел в широкое кресло читать, насадив на круглый нос пенсне.

Дошел до строк:

– *Надеюсь, ты еще не позавтракал?*

– *Нет.*

– *Вот хорошо. Я как раз сажусь за стол, и у меня чудесная форель.*

Уронил пенсне на книжку, произнес:

– Желатин, по фунту на купон, три недели подряд, а?

Вдруг насторожился.

Стучат, но негромко, неуверенно. Лучше подождать. Подождал. Стук громче. Вскочил, затворил шкаф, запер его, посмотрел на стол. Хлеб – под салфетку, коробочку с сахаринном – в карман.

– Кто там?

– Сергей Львович Щепов здесь живет?

– А кто спрашивает?

– Старцов.

– Что вам угодно?

– Старцов, из Семидола, Андрей Старцов.

– Из Семидола?

– У меня для вас письмо от сына, от Алексея Сергеевича.

– А-а-а! Как же, как же! Сейчас.

Засуетился. Задвижка вверху двери, задвижка внизу, крюк, замок инженера Тубкиса, замок простой, замок французский, цепочка.

– Теперь, знаете, ни на кого положиться нельзя, на сына родного – нельзя. Воры кругом, одни воры, мошенники, бандиты. Очень рад познакомиться. Да. Вот видите, так и живу. Горшки мою, дрова пилю, варю сам, стираю сам, шью, лампы заправляю, сапоги чиню, сортиры, pardon, чищу. Милости прошу. Вот видите – мозоли на руках, мозолистые руки. Воняет гарью – это от кофею, керосином – это от лампы, касторкой – это от котлет. Картофельные котлеты на касторке готовлю. Вот так-то. Садитесь, пожалуйста. Есть кофе. Я только подмету, забыл подмести. Надолго? По делу?

Старцов снял мешок со спины. Стоял большой, мутно-серый, в промокшей солдатской шинели, с рукавами, прятанными пальцы, с покатыми плечами и куцым воротником.

– Не знаю. – сказал он, – сегодня ничего не узнал. Завтра поутру будет известно.

– Действительный статский советник! Вот этими руками, все сам. С восьми утра до двенадцати ночи. А что мне за это? Вон вчера опять выдали полфунта воблы да фунт желатина. Зачем мне желатин? Пришлось по плану. Хорошо. А если по плану удочки придутся? Скажем, каждому гражданину по две удочки. Что прикажете делать? Чепуха... Письмо от Алексея, говорите? Ну, как он?.. Вот кофе. Хлеба у меня...

– Хлеб у меня есть, – сказал Старцов, – белый хлеб, семидольский.

– Почему там мука?

– Вот письмо, – сказал Старцов.

Читая, Сергей Львович подергивал носом, и пенсне медленно наклонялось верхней своей частью к бумаге. Сергей Львович все выше и выше задирает голову, и лицо его становилось уже и надменной.

– Женился! – воскликнул он, ударив пальцами по письму. – Женился, на актрисе женился! Воображаю!

Он поправил пенсне и разыскал глазами строчку, на которой остановился. Потом вложил письмо в книгу, облокотился на стол и заглянул в глаза гостя.

– Ну конечно. Вот как теперь, детки-то. Прежде так купцы писали: честь имеем сообщить, что в наш торговый дом на равных правах вошел Иван Иванович Сидоров. Просим заметить себе его подпись. А тут и того нет: сообщаю, что вашу фамилию будет носить певичка. Даже имени нет – Дарья, Марья, Аграфена? Черт ее знает!

– Ее зовут Клавдией... по отчеству... забыл, – сказал Старцов.

– А по фамилии? Какая-нибудь Кульпякина, по сцене – Раздор-Запольская, энженю-драматик на ролях без слов и движений... Впрочем, не все ли равно? Не все ли равно, спрашиваю я, а?

– Почему же?

– А потому, что теперь все полетело к черту в пузо. Все! Мы теперь с вами – каша в трубе какого-то дьявола. Обрабатывает нас желудочный сок, потом поползем мы по кишкам, по двенадцатиперстной, по тонким, толстым, по прямой. Вот что мы такое.

Сергей Львович вынул из кармана коробочку с сахаринем, подцепил на ложку беленькую таблетку, бросил ее в свой стакан. На мгновение остался неподвижным. Потом протянул коробочку Старцову.

– Благодарю вас, привык без сладкого.

Сергей Львович аккуратно закрыл коробочку и неожиданно, по-детски скоро, проследил:

– Вы говорите, почему все равно? Ну что Алексею до меня за дело? Хорошо еще, что уведолил. А то прислал бы в одно прекрасное утро четверых сопляков с записочкой: посылаю

вам, дорогой папочка, ваших внучат на попечение, сам еду в путешествие. Вы думаете, в летчики он пошел по-другому? Явился как-то, говорит: «Прощайте, еду на фронт, может, голову сверну, не увидимся». – «Как голову свернешь, когда ты мичман российской службы?» – «Эк, отвечает, спохватились! Я уж полгода, как на гидроплане летаю, а теперь на фронт инструктором назначен». Что остается отцу делать? Благословил. А как прикажете сейчас поступить? Благословить его с Кульпяпкиной, Раздор-Запольской! Все равно наплюет – что благословляй, что нет. Это еще счастье, поверьте мне, счастье. Другой у меня сын есть, младший...

Сергей Львович вдруг встал, поднял руку и прокричал куда-то в угол:

– Отрекаюсь! Перед богом и перед людьми отрекаюсь! Нет второго сына! Был, но умер, превратился в тлен, в прах, исчез, погиб, погиб...

Он рухнул в кресло, ударился головой о край стола, всхлипнул, опять ударился головой, задержался:

– Погиб Левочка, погиб!.. Подлец несчастный, подлец!.. Пропал совсем!..

Старцов привстал, шевельнул губами, сел, снова поднялся. Но Сергей Львович встряхнул головой и вдруг спокойно:

– Недостоин, негодяй, упоминания, не то что слез. Вот почему говорю я, что все теперь полетело к черту. Дети стали предателями, и отцы почерствели. Без сожаления, без слез, без сердца, черствы и холодны, вот как эта плита. Да, вам, постороннему человеку, я со спокойной душой, как рапорт пишу по начальству, как доктор больную руку отнимает, говорю: мой сын Лев – вор! Не как-нибудь иносказательно, а просто по-настоящему – вор. Отца обворовал, тетку обворовал, знакомых обворовал. Вчера из уголовного розыска приходили искать бывшего дворянского сына Льва Щепова, попавшегося в краже. Часы украл, три костюма, белье, шубу енотовую, ложки серебряные. Я три замка к двери приделал: каждый день покража. Засаду устроил, в шкафу у меня сыщик сидел, когда я на службу уходил. Три дня сидел. А потом мне ухмыляется: товарищ Щепов, простите, говорит, но тут – свой. Я тогда Льву пощечину дал и выгнал. Он пошел к тетке ночевать и обокрал ее. Это я вам говорю, постороннему человеку. У меня сына Льва нет. Отболел, как парш. Вместе с людьми отболел, люди для меня теперь – воры, предатели, сволочь!

За черным окном глухо лязгало разорванное железо водосточной трубы. Тоненькая вьюшка железной печки звякала озабоченно где-то под потолком – ветер то всасывал ее, то толкал. Сергей Львович размешивал в стакане чайной ложечкой сахарин.

– Он, что же, по-советски женился?

– Не знаю. Думаю – да, – ответил Старцов.

– Тогда бог с ним.

Старцов засмеялся. Сергей Львович взглянул на него быстрыми глазами, сузившимися и скользкими, словно только теперь вспомнил, что надо разглядеть гостя.

– Андрей... Как вас по батюшке?

– Геннадьевич.

– Вы по делам сюда, Андрей Геннадьевич?

– Я мобилизован. Прибыл в здешнюю армию.

Сергей Львович перепрыгнул взглядом на прикрытый шкаф с продуктами.

– Я бы пригласил вас остаться переночевать... вот и Алексей просит в письме... Только в комнате градуса два... Топлю я в одной конурке...

– Ничего, укурюсь...

– Ну, если не боитесь...

Старцов лег на кожаную кушетку, как был, как ложился все эти ночи – в теплушках, на вокзалах, в московской казарме, – в шинели, сапогах, с мешком под головой.

Сергей Львович осмотрел шкаф с продуктами, запер его на ключ, навесил никелированный замочек, взял под мышку «Избранника госпожи Гюссон», в руку – лампочку «эко-

номия» и пошел в спальню. Там, в изголовье, на столике, – часы, вделанная в перламутр зажигалка, чехол для пенсне, «Избранник госпожи Гюссон», серебряная папиросница в монограммах и маленький кусочек – всего один квадратик – старого, довоенного шоколада. Сделав из одеяла конверт и забравшись в него, Сергей Львович вздохнул, вытянул руки и на минуту закрыл глаза. Потом, перерожденный, медленно вложил в рот квадратик шоколада. Опять закрыл глаза. Потом закурил, затянулся глубоко дымом и, повернувшись на бок, взял со столика книгу.

Размеренный лязг железной ошметки за окном был здесь чуть слышен.

Окопный профессор

- Послушайте, послушайте, стучат!
Старцов попробовал поднять веки. Они были тяжелы, как крышка оцинкованного сундука.
- Андрей Геннадьевич, стучат!
Не шевелясь, Старцов сказал:
– Ну что же.
– Я думаю, если обыск...
И опять так же произнес Старцов:
– Пускайте, пусть...
Он слышал, как торопливо зашмыгали по полу туфли. Дальше, дальше. Остановились. Вновь зашмыгали. Ближе, ближе.
– Андрей Геннадьевич, ведь вы не прописаны!
– У меня бумаги. Объясню...
По стенам покатился гулкой стон. Туфли заторопились. Но тотчас, словно отшмыгнув небольшой круг, шлепнулись опять под самым ухом.
– А если налет... налетчики... знаете...
– У меня маузер, – сказал Старцов и открыл глаза.
Сергей Львович стоял перед ним, накинув на плечи шубу, в длинной, до колен, ночной рубахе и трикотажных полинялых кальсонах, обтягивавших худосочные икры. В руке у него дрожала лампочка, обдавая тепленькими всплесками света то подбородок, то нос, и лицо Сергея Львовича казалось то жирным, то странно худым.
– А разрешение есть? – тихо спросил он.
Стены застонали гулче. Сергей Львович кинулся отпирать. Неясные звуки коротко переплелись и затарахтели по комнатам. Потом вдруг зажалобился тонкий голос:
– Я шестнадцать часов в сутки работаю! Шесть на службе, шесть дома, четыре в очередях стою, да дежурства, да трудовая повинность! Мне пятьдесят два...
Кто-то издали и глухо, как топором по пустой бочке:
– Не задерживайте, гражданин!..
У Сергея Львовича скатилась с плеч шуба, и он старался поймать ее одной рукой, крутясь, точно молодой неуклюжий дог, ловящий свой хвост.
– Среди ночи гонят к чертовой матери рыть окопы! С ножом к горлу! Мало, что мы выгребные ямы чистим, дрова рубим, черт-е-знает, в очередях стоим... За желатин землю копать? Да на кой мне...
– Сколько сейчас времени? – спросил Старцов.
– Три часа. Три часа ночи. Разве...
– Знаете что? Я пойду вместо вас. Я выспался.
Сергей Львович поднес лампочку к лицу Старцова.
– Ступайте скажите, что вместо вас идет другой человек, помоложе и...
– Посильней, конечно посильней! Вон у вас плечи-то, – перехватил Сергей Львович. Он выпалил эти слова на ходу, запахивая шубу и устремившись к двери.
Провожая гостя, благодарно и умильно напутствовал:
– Желаю вам, желаю... Заходите. Если задержитесь – переночевать, пожить даже: я ведь совсем один. Очень рад...
У самой двери он придержал Старцова за рукав, встал на цыпочки и шепнул:
– Видно, там плохо!
– Где?

– А там...

– Вот посмотрю, – ответил Андрей и сбежал по лестнице в темноту.

На дворе, под мутным пятном закопченного фонаря, шла переключка.

– Квартира двадцать седьмая?

– Есть! – крикнул Андрей.

И глухо, как топором по пустой бочке, ударил голос:

– Откупился!

Потом темная глыба заслонила от Андрея фонарь, и тот же голос ухнул над головой:

– Документ!..

В мокрый, глухой туннель, в черную прорву холода ввалились немой скученным табуном. По шелухе железа, где-то над головами татакали, как цепи по току, быстрые шаги. Подняв воротники, руки – в рукава, спины – горбами, лицами в землю, под ноги – вперед, неизменно вперед, только вперед, в черную прорву холода.

И вдруг – в спины, в затылки, в шеи, под ноги – носами, животами, коленями, друг в друга – все до одного, до последнего. И спереди:

– Стой, сто-ой, сто-о-о-ооо!

Потихоньку, на ощупь, шурясь, пяля вперед, в бока, назад локти, руки, пальцы – толпа начала растекаться вправо и влево. А спереди:

– Че-ррр-т! Напоролись!

– Куда ты перла-то, прости господи?

– Да ведь товарищ ведет; я думала, он знает дорогу...

– Думают петухи... Вон у меня полы-то как не было!

– Вы бы сами...

– Ха-ха!

– С левой руки, граждане, вот на спичку, отсюда!

– Не воевали, а ранились!

Обходили, как слепцы – не табуном – человеческой толпой, с человеческим смехом, – невидный деревянный козел, запутанный проволокой. Чиркали спичками, выбивали беленькие искорки из зажигалок на потеху ветру.

За поворотом, в пространстве, неожиданно высветился восходящей луною часовой циферблат. Был он гладок, чист, четок, окружен беспредельной чернотой ночи, светился, не давая свету, и показывал три четверти восьмого.

От этого циферблата люди пошли бойко и гомонили не унимаясь.

– Престранные бывают ассоциации, – услышал Старцов негромкий голосок. Он взгляделся в темень. Рядом с ним поспешал силуэттик ростом ему по плечо.

– Престранные. У меня знакомый один, хранитель музея. Владелец единственной коллекции миниатюр восемнадцатого века и библиотеки по истории миниатюры. Теперь впал, конечно, в нужду, распродал мебель, утварь, пустяки всякие. Дошел до последнего: с чего начать – с миниатюр или с библиотеки? Помучился, помучился – начал с библиотеки. И знаете, с этого дня все позабыл, все, что в книгах было, и вообще хронологию, эпохи, стили – всё. Только смотрит на свои медальоны, фарфор да эмаль, улыбается, светится – и все. А о чем ни начнет вспоминать – путает.

– О какой ассоциации вы? – спросил Андрей.

Тихонький голосок из непроглядной тьмы, из-за гомона людей, из-за свиста железной шелухи, точно извиняясь, посмеялся над самим собой.

– Это я про электрические часы. Вот светятся еще, и всё еще будто часы, а стрелки уже остановились, стоят, не шелохнутся. Светятся, а потухнут, непременно потухнут...

– Ерунда! – вдруг вырвалось у Андрея, и он тут же вспомнил, что это слово – не его и что Голосов произносил его по-другому.

– Они на прямом кабелю, оттого горят! – донеслось сзади.

Остановились все в той же холодной прорве, казалось без причины; казалось, можно было остановиться много раньше, а можно было идти еще. Красенькая воронка света из пригоршни ткнулась в широкое лицо, исполосованное морщинами, рябое. Потом на месте лица заалел огонек папирасы. К огоньку подобрался рукав, огонек раздулся, осветил ремешок часов.

– Без десяти, – ухнула глыба.

Где-то заклохтала темнота, дорога вздрогнула, заколебалась; шагах в двухстах из земли выросла белая колокольня, рядом с ней – развалины, мертвенно-холодные в дрожи прожектора; потом клохтанье перешло в гул, в гвалт, в гром, в грохот, и, метнув саваном по домам – от церкви, через развалины, с дома на дом, чем дальше, тем скорее, – прямой разящий рупор света ударил в лица и ослепил.

С громыхающего гороподобного грузовика, преодолевая треск и трепыханье, пронзительно проорали:

– Сколь-ко люде-ей?

– Тридцать.

С визгом и звоном посыпались лопаты, подскакивая, привставая на мостовой.

– Четыр-надца-ать! Валяй еще-о-о!

– Хватит!

И опять заходила земля под ногами, опять зацапал мертвенно-холодный прожектор дома, руины, заборы; потом сразу опрокинулась и наглухо прихлопнула людей черная прорва, и все ослепли.

– Разбейтесь напополам.

Ходили на развалины кучками, взявшись за руки. Там изводили спички, искали балок. Невидимо откуда наволокли со всех сторон щеп, досок, дранок, рам, фанеры, подкатали мокрое бревно. У концов его, упрятанных в щепы, распалили костры.

Гулкая глотка ухнула нетерпеливо:

– Ну что же, граждане, встали?

Тогда чья-то большая рука, дрогнув в робком свете костров, тяжело поднялась ко лбу, опустилась на живот, махнула от плеча к плечу, и спокойный голос позвал:

– С богом, товарищи!

И тогда десяток-другой спин медленно пригнулись к земле.

У забора, сколоченного из вывесок, куда отошла смена, разворотив мостовую, гукало и шуршало железо. Андрей распахнулся, вытер рукой потную шею, присел на асфальт. Женщина, перетянутая ремешком, неловкая, тучная, отдуваясь, счищая обрывком ржавой жести липкую грязь с ладоней, спросила:

– Ну как, профессор, камни-то ворочать?

Человек ростом Старцову по плечо потянулся, точно просыпаясь, и рассмеялся:

– А знаете – хорошо! Я не могу вам точно передать, что я чувствую. Иногда идешь по улице, поднимешь невзначай голову, вдруг – небо! Так станет на душе удивительно. Годами не видишь, не замечаешь, как будто нет ничего. И вдруг прикоснешься. Оказывается – небо!.. Вот что-то такое...

– Оказывается – назём.

– Совершенно верно – назём, грязь. А прикоснуться – радость.

– Я понял бы, если бы – пафос, – раздалось прерывисто, с одышкой.

Тучная, неловкая спохватилась:

– Вот именно! В феврале баррикады строились сами. А сейчас – казарма.

Одышка добавила:

– Главное, защищаем что? Право на разрушение.

– Разрушение, – отдалось сзади.

– Разрушение, – колыхнулось спереди.

– Пафос, – сказал профессор, глядя в Андрей, – пафос – это час, день, неделя.

Пафос – это припадок. Нельзя, чтобы народ бился в припадке целые годы.

– А зачем нужно, чтобы бился?

– Профессор, ведь культура...

– Культура, – отдалось сзади.

– Культура, – колыхнулось спереди.

И опять, точно посмеиваясь над самим собой, извинился профессор:

– Я, знаете ли, изучая историю, не мог обнаружить, чтобы какая-нибудь идея бесследно исчезала под развалинами академии, города или государства. Не мог. И я совершенно спокоен: биологии, истории, искусству, физике, вообще знанию, накопленному человечеством, сейчас ничто не угрожает.

– Идеи можно мыслить только в человечестве. А человечество обречено на взаимное истребление.

– Истребление, – отдалось сзади.

– Истребление, – колыхнулось спереди.

– Я не вижу этого, – возразил профессор.

– А как же, – спросил Старцов, – насчет часов?

– Каких часов?

– Там, на перекрестке. Горят – но потухнут, непременно потухнут...

– Про хранителя музея? Но ведь это – чувство, человеческое чувство! Господа! (Профессор воскликнул: «Господа!» – но обратился к одному Андрею и говорил с дружеской укоризной.) Кто же будет отрицать, что нам больно смотреть на собственную смерть?

– Смерть, – подхватила одышка.

Забор из вывесок загромыхал и взвыл, заглушив негромкую речь. Костры притухли, потом на мгновение залили людей красным пламенем и ровно приземлили огонь.

Насыпь подымалась в длину всего окопа, от тротуара к тротуару, поперечной прямой линией. Когда в окоп входила смена, лопаты двигались вяло, земля скатывалась по насыпи назад в яму. Потом крутые комья торопливым градом катились через гребень насыпи к кострам, засыпая развороченный булыжник. Обшарканное железо лопат дзинькало по грунту, как косы по росному лугу, люди распялялись и работали зло.

В шесть утра человек, голос которого ухал точно топором по пустой бочке, спрыгнул в окоп, примерился глазом на насыпь, прошел из конца в конец, вылез на мостовую, ухнул:

– Ладно, граждане! Спасибо!

– Республика, стало, благодарит? – произнесла одышка.

Кто-то верещава вздохнул:

– Вскую, господи!

Отряхивались, отчищались, отскабливались, делили остатки щеп, тушили дымившие головни в лужицах, посмеивались, в последний час ночной тьмы вступили шумной ватагой.

Старцов ушел далеко вперед. Голоса позади него растаяли, город суровым безмолвием отзывался на его шаги.

Вдруг он расслышал впереди себя обрывочки бравурного напева. Он насторожился, пошел быстрее, ступая одними подошвами.

Силуэтик ростом ему по плечо, засунув руки в глубокие карманы, весь сжавшись и уйдя в пальто, ввинчивал в каменные плиты скорые, короткие шажки и решительно мурлыкал:

Aux armes, citoyens!

Старцов подхватил:

Formez vos bataillons!

Профессор живо повернулся на каблуках, как-то по-птичьи впери́л глаза-угольки в Старцова, коротко воскликнул: «А, это вы?» – и, стремительно схватив его под руку, дергая за рукав в такт песне, точно понукая подтягивать, точно стараясь растеребить, раскачать Старцова, почти громко продолжал:

Marchons, marchons...¹

И ввинчивал чеканно, маршево, восторженно короткие звонкие шажки в мокрые плиты. Так в вымершем, промозглом, шелушившемся железной шелухой городе, в последний час ночной тьмы, шли двое, взявшись под руку, с песней, которой нет равной. И когда кончилась песня, один сказал:

– Еще один раз родиться, еще один раз, боже мой! Через сто лет. Чтобы увидеть, как люди плачут при одном упоминании об этих годах, чтобы где-нибудь поклониться истлевшему куску знамени, почитать оперативную сводку штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии! Ведь вот – смотрите! смотрите! – ветер рвет, полощет дождем отлипшую от забора, обмазанную тестом газету. А ведь через сто лет кусочек, частичку этого листа человечество в антиминс зашьет, как мощи, как святая святых!.. Через сто лет родиться и вдруг сказать: а я жил тогда, жил в те годы! И однажды, сырой, холодной ночью, в Петербурге, в Петрограде, в Питере, рыл окопы вот этими руками, шел по пустынной улице, по городу, который умирал и дрался, дрался и умирал, шел под руку с солдатом Красной Армии, вот этой, вот, вот – смотрите! – вот этой рукой держал вот так красноармейца! Ведь вы красноармеец?

– Я еду... То есть... я должен сегодня получить назначение...

– Вы, может быть, увидите еще... Я, конечно, не выживу, не гожусь. Животу, мамону, зверю сейчас тяжело. Если бы вы могли себе представить, как иной раз досадно, – до слез, знаете ли! Может – старческое. Да, старческое. Вот и... Позвольте с вами...

Внезапно профессор очутился перед Старцовым, обхватил одной рукой его затылок и трижды прижался к щеке дрожащими губами.

– Мне налево. Не обижайтесь. Счастливо!

И юркнул за угол.

Андрей остановился.

Лицо его опалил горячий воздух – так ясно, отчетливо, ощутимо, что он вздрогнул. Воспоминанье было неожиданное и ошеломило его. Из всего, что произошло на вокзале в Семидоле, что случилось в этот последний прощальный день, только одна черта, одно неуловимо короткое чувство отложилось в памяти. Остальное скаталось в сплошной клубок:

Сумерки, нестройные голоса, свернутые – для удобства – плакаты и знамена, толчея на узкой платформе вокзала. Под ногами качающийся от выкриков скрипучий ящик, потом деловые, торопливые поцелуи с товарищами, их лица – как будто застенчивые, виноватые; потом беготня по черным запутанным путям и дорога в город – дорога одинокая и длинная. Все это – сплошным клубком, заслоненным ясной, неотступной волей, – да, волей, желаньем, хотеньем пережить еще раз чувство совершенной свободы, то самое чувство, которое пришло в полях под Саньшином, – чувство бесплотности.

¹ К оружию, сограждане! Стройтесь в ряды! Вперед, вперед... (фр.)

Но вот что разорвало непрерывность воли, что литым мячом откинуло в сторону весь этот день, последний в Семидоле день, – и вот что сделало этот день прощальным:

Ночь была холодная. Небо стояло необычно высоко, и звезды на нем были мертвы. Площадь перед вокзалом не лежала, как всегда, пустырем, а простиралась пустыней. Лошадь переставляла ноги, извозчичья таратайка кренилась вправо и влево, но ощущения езды, движения не было. Внезапно неразличимая в ночи фигура вспрыгнула на подножку пролетки. Лошадь стала.

– Рита! – вскрикнул Андрей.

– Я хотела, чтобы никто не видал, – задыхаясь, проговорила она. Потом упала ему на плечи, ледяными губами зажала его рот, холодными рассыпавшимися волосами коснулась лица, шеи, рук и нежданно горячо, в этом осеннем холоде ночи, губ и волос, опалила:

– Прощай!

Он должен был что-то крикнуть, потому что крик подкатился к горлу, потому что Рита рванулась с пролетки и убежала в ночь, потому что вдруг стало так, точно он уходил от матери, уходил навсегда, – должен, должен был крикнуть, но вместо крика ткнул в спину извозчика и выдавил из горла через силу:

– Гони!

И вновь заслонило все ясной волей – еще раз, скорее испытать, пережить, почувствовать то, что пришло в полях под Санышином.

– Гони, гони, гони!

И теперь, в холоде ночи, от холодного прикосновения чужих губ, отчетливо, ощутимо опалил лицо горячий вздох, и воспоминанье последнего дня, ставшего прощальным, было горько. Но так же скоро горечь смылась неотступной волей – испытать! И Андрей ринулся в темноту, крикнув самому себе:

– Гони!

О, если бы сейчас он был на месте шофера, который выгнал из-за угла громыхающую машину, промчал ее на два пальца от чугунного столба, окунул в лужу, подбросил в воздух, выпрямил, выправил, вбил в бесконечную прямизну проспекта и погнал в вихре брызг, в свисте колес, в треске мотора, в шуме, грохоте, громе! Каждая секунда – смерть, на каждой выбоине – смерть, в каждой яме – смерть, у каждого столба – смерть, на повороте – смерть, на прямой – смерть! И прекрасно, прекрасно, потому что ничего, кроме – так нужно; ничего, кроме – необходимо! Прекрасно, легко, бесконечно легко! О, если бы сейчас испытать, пережить, почувствовать, что пришло в полях под Санышином!

– Гони, гони, гони!

Конрад Штейн

В тот день, в Москве, к дому, где помещался Германский совет солдатских депутатов, подошел человек в пушистой заячьей шапке, в порванной грязной шинели германского образца и голубых австрийских обмотках на ногах. Он потолкался в вестибюле, перечитал объявления и записочки, наколотые по стенам, и пошел на второй этаж.

В комнате, где толпились оборванные люди, он стал в очередь. С полчаса он продвигался вперед с видом человека, привыкшего ждать, усталого и безразличного. Подойдя к столу, он снял шапку. Волосы его были очень коротко обстрижены, и по голове, от правого уха к затылку, протянулся широкий шрам, усеянный сморщенными розовыми рубцами. Он держался прямо, как хороший солдат, и звонко стукнул каблуками, когда человек, сидевший за столом, поднял на него глаза.

– Я отстал от эшелона, возвращающегося на родину. Вот мои документы. Прошу присоединить меня к ближайшей партии. Я должен был...

– Откуда шел эшелон?

– Из Семидола.

– Как же вы отстали?

– Я покупал для товарищей картофель. Начальник эшелона сказал, что мы простоим часов восемь. Я ходил в деревушку в двух-трех километрах. Поезд отвели тем временем на какую-то ветку. За всей этой русской суматохой, пока я узнавал...

– Где это было?

– В Рязани. Я прошел добрых полпути пешком, до Москвы.

– Вас зовут?..

– Конрад Штейн.

Поводив пальцем по спискам, человек, сидевший за столом, закурил папироску и сказал:

– Да, есть. Это было в конце октября?

– Эшелон погрузился в Семидоле двадцать четвертого октября и отправился двадцать пятого.

– Одна минутка, – произнес проверявший списки, поднялся и вышел в соседнюю комнату.

Пожилый бородатый солдат в русском башлыке вокруг шеи ласково взгляделся в Конрада Штейна и, показав глазами на его шрам, сказал:

– Хорошо сделано. Осколок?

– Французская работа, – отозвался Штейн, – в Шампани, в пятнадцатом году.

– Хорошо сделано, – повторил солдат. – Вы саксонец?

– Да.

Дверь соседней комнаты открылась, и человек со списками в руках выкрикнул:

– Конрад Штейн, зайдите сюда.

Когда Штейн поравнялся с ним, он добавил:

– Доложите секретарю, что вы мне говорили.

И стал в дверях.

Секретарь мельком взглянул на него и сказал:

– Вы можете идти, товарищ.

Потом сухо обратился к Штейну:

– В каком лагере вы содержались?

– В Томском.

– До какого времени?

– Вот мои документы, в них все подробности. Потрудитесь...

– Прошу вас отвечать на вопросы. Мы в чужой стране, которая еще недавно находилась в войне с нами, и наш долг помогать друг другу. Каждый рвется домой, но не у всех одни права на первую очередь.

– Но ведь я уже был включен в эшелон!

– Я знаю. Когда вы были взяты в плен?

– Я тяжело болен, вы видите. – Штейн показал на свой шрам.

– Когда вы были взяты в плен?

– В феврале семнадцатого года.

– Где?

– Под Ригой.

– До какого времени вы содержались в Томске?

– Точно не припомню. Весной этого года. У меня, видите? – Штейн снова показал на голову.

– Однако вы точно сказали, когда отправились из Семидола.

– Это записано в документах.

– Каким образом вы очутились в Семидоле?

– Шесть человек бежали из Томска, в числе их – я.

– Как вы проникли через фронт?

– Красные приняли нас хорошо и помогли добраться до Семидола.

– А белые?

– Белых мы обошли.

– В гражданской войне вы не участвовали?

– Нет.

– Вы рядовой?

– Я ефрейтор.

Секретарь встал и направился к дальней двери. Дойдя до нее, он быстро обернулся и спросил:

– А вы не знали некоего цур Мюлен-Шенау?

Ефрейтор сморщил брови, поднял глаза к потолку, помычал.

– Нет, не припомню, – спокойно ответил он.

– Как вас зовут?

– Конрад Штейн, – сказал ефрейтор.

Секретарь вышел.

Тогда Конрад Штейн бросился к двери, через которую перед тем вошел, остановился на одно мгновение, затаил дыханье, прислушиваясь, потом неторопливо нажал дверную ручку.

В комнате, где толпились оборванные люди, у стола никого не было. Из телефонной будки доносился чей-то раздраженный тонкий крик.

Конрад Штейн положил на дно шапки свои документы, нахлобучил заячий мех на глаза и стал пробираться к выходу. Бородатому солдату в башлыке вокруг шеи, ласково взглянувшему на него, он скучно сказал:

– Пойду покурю, пока там возятся с бумагами.

И тихо спустился по лестнице. На улице он скользнул за угол, бросился к трамвайной остановке и затерялся в невзрачной толпе.

А ночью к товарному поезду, тащившемуся из Москвы в Клин, подбежал из темноты быстрый человек с большой белой головой и, пропустив мимо себя звякавший сцепами, поскрипывающий состав, прилип к затылку последнего вагона у буфера, под слепым глазком красного фонаря.

ВРАГ У ВОРОТ!

Штаб был освещен, и по замызганным, обшарканным лестницам бродили, бегали, металась люди. Через распахнутую дверь рвались телефонные звонки и охрипый, замученный голос клекотал поминутно:

– Слушаю... для поручений...

– Говорит для поручений... у телефона для пору-че-ний!

В круглой высокой комнате плавал в табачном дыму и в бумажных ворохах сонный человек. Мусоля пальцы, он перебирал и перекладывал картонные карточки, бумажки, бумаги, подносил к губам эмалированный чайник, сосал оббитый носик, потом долго таращил глаза – с растолстевшими веками и обескрашенными зрачками – и опять перекладывал бумажки.

– Вам когда сказано явиться? – спросил он Старцова, не отрываясь от бумажек.

– В девять.

– А сейчас сколько?

Он весь обвис – усы полезли в рот, щеки сползли на нижнюю челюсть, длинные волосы занавесили лоб, глаза, уши, – но неустанно были руки, перебиравшие карточки, бумажки, бумаги.

– Постойте, – крикнул он уходившему Старцову, – есть! Это на Французской набережной.

Старцов взял бумагу, сунул ее за обшлаг и – мимо бродивших, бегавших, метавшихся людей, сквозь разнотонный треск звонков и клекотавший хрип: «для пору-че-ний!» – вышел на площадь.

Над дворцом струилась неровная белизна рассвета, но сам он, Александровский сад, разогнутая подкова штаба все еще стояли сплошной серой стеной, обрубая скрещенные лапы автомобильных прожекторов.

Андрей окунулся в туман. Он шагал широко и уверенно, подбадряемый холодным ветром, заползавшим под воротник и в рукава.

Он торопился навстречу делу и верил, что все в мире станет простым и ясным, если он прикоснется к нему. Ему казалось, что чувство, поднявшее его над землей, как ветер клоч бумаги, хоронится где-то совсем близко и вот-вот ворвется в него, чтобы опять закружить в своей воронке. Откуда мог он знать, что его попутный ветер дует с берега, к которому он старался причалить? Откуда мог знать, что с того часа, как он переступит порог ослепшего от дождей дома, каждый его день ляжет горюю между ним и его простой, осязаемой целью?

Он открыл отсыревшую дверь и поднялся по лестнице с пропитанной грязью ковровой дорожкой.

В большом зале горела бессильная электрическая лампочка. Рыжий свет ее падал на длинный ряд ломберных столиков, выстроившихся вдоль окон.

– Сала-ват! – донеслось до Андрея жесткое гортанное слово.

Он обернулся. В углу, на крышке концертного рояля, лежал человек лицом вверх, с телефонной трубкой у рта.

– Салават! Салават! – кричал он так, что у него вздрагивал живот и дергались ноги.

Андрей посмотрел в дальний угол зала. Ему показалось, что там никого не было. Но в бледном, пробивавшемся через окно свете он вдруг различил силуэт солдата. Штык торчал над его головой прямой, четкой линейкой. Солдат стоял подле бесформенной черной кучи, выраставшей из пола. Андрей подошел ближе. На высоком приступке с ниспадавшими складками материй, обложенный венками, стоял гроб. Солдат, державший караул, крепко спал.

– Выпускающий «Салавата»? – вскричал человек на рояле и тут же жарко заторкал в трубку жесткими, невнятными словами. Потом соскочил с рояля и произнес, уже обращаясь к Андрею:

– Вот, сволочи, до сих пор не спустили в машину!

– Что?

- Да «Салават»! Газету, черги! А вам что надо?
- Не знаю, туда ли я попал. Мне нужен начальник...
- Начальник? Вон туда.

И короткий палец показал Андрею в дальний угол, на гроб.

- Он умер? – спросил Андрей.
- Да нет же, это совсем другой! Там вон, дверь.

Красный, бегавший по стенам свет прыгнул Андрею на грудь, колыхнулся по лицу и соскользнул на пол. У камина, на просторном ковре, поджав под себя ноги, сидели трое. Скуластый черный человек с масляными прямыми прилизанными волосами круто дернулся головой к Андрею и спросил с качким восточным акцентом:

- Что надо, товарищ?

Андрей подошел ближе и протянул свои бумаги.

- Хорошо, нам надо такой работник, – сказал черный и кольнул Андрея меткими глазами.

Двое других мельком покосились на Андрея и замурлыкали монотонную песенку, громко вздохнув.

- Хочешь подождать – можешь подождать в другой комнате.
- Вы назначите меня в часть? – спросил Андрей.
- Зачем в часть, почему в часть, если я говорю, что нам надо такой работник?
- Но я выражаю желание идти на фронт, а не оставаться здесь.
- Товарищ дорогой, я тоже выражаю желание, чтобы ты остался здесь. Здесь тоже фронт,

а не что другое.

- Я хочу в передовые части, товарищ, меня за этим и послали.

– Какой разговорчивый, какой разговорчивый, дорогой! – воскликнул черный и показал Андрею довольный, блестящий оскал. – Так вот я сообщаю, что здесь передовая часть, сейчас может стать передовая часть в самом Петрограде. Оружие есть?

- Маузер.
- Поди чисти свой маузер.
- Он смазан, чистить его нечего.
- Какой разговорчивый!

Черный вскочил на ноги, хлопнул себя по ляжкам и подошел к Андрею. Был он строен, гибок и узкогруд, и в том, что он сказал, неожиданно зазвенела серьезность, углубленная невязавшимся со словами акцентом. Он сказал:

– Молодой товарищ, революция знает, что надо делать с тобой, со мной, вон с тем, с другим. Я тоже не хочу сидеть в этой комнате, холодной, высокой, тут от пола до потолка пять верст! Революция знает, что я, начальник, здесь должен, у паршивого камина. Подожди в другой комнате. Ты будешь помогать хоронить убитого командира.

Он хлопнул Андрея по плечу.

- Надо хорошие похороны, – это хороший красный командир!

Вошел и остановился в дверях вестовой. Начальник шагнул ему навстречу, и вдруг каскад неудержимых гортанных вскриков обвалился на вестового и, казалось, сшиб его с ног; он попятился и сел в кресло. Тогда черный кинулся к нему, затормошил его за плечи, захлопал по груди, принялся дергать пояс. Вестовой протянул начальнику короткопалую руку ладонью вверх, начальник хлопнул по ней и устремился к камину. Там все еще раскачивались и мурлыкали песню его двое товарищей. Он уркнул что-то им, они обернулись на вестового и крикнули короткое слово. Вестовой поднялся, произнес то же слово и вышел. Тогда начальник подошел к Андрею.

– Я говорю ему, почему даешь моей кабыле белую попону? Я не белый армеец, я красный армеец, – давай красную попону, красную звезду, красное седло! Зачем белое?

Он радостно захохотал и протянул Андрею руку.

Андрей схватил эту руку – цепкую, сильную и сухую, – пожал ее и повернулся к двери. Когда он, сделав несколько шагов, остановился посреди комнаты, на лице его тенью отразилась призрачная, радостная, лукавая улыбка черного человека.

Он начал работать.

Телефоны, пакеты, бумаги, телеграфные сводки, какие-то книги и ведомости, какие-то актеры и каптенармусы, что-то вдруг холодное, как стужа, ползущая из двери по паркету, или маркое, как шелковый колпак на лампе, чьи-то горести, чье-то счастье, конюхи, лекторы по истории первобытной культуры и дивизионные врачи, барышни в заячьих шубейках и художники в валяных сапогах, что-то необъятное и вдруг что-то мизерное – все это закружило и укачало его, как баркас, и он плыл, утопал и выкарабкивался, чтобы опять плыть и утонуть.

Он опомнился в сумерки, в толпе обступивших красный гроб скуластых людей, у самого гроба, подле черного, как траур, начальника. Освещенный угольными лампочками зал – в панно, гобеленах и тяжелых картинах – гудел привычным напевом. Но песня пелась на короткозвучном, хоркающем, как вальдшнеп, языке, и напев получался тоскливый, как степь. Андрею показалось, что на скуластых, недвижимых, кованых из меди лицах чересчур часто закрывались и мигали раскосые сухие глаза.

Он вышел на набережную, когда клейкая темень прилипла к мрачным слепым домам. Он постоял на дороге в нерешительности, поворачивая голову по сторонам, потом нахлобучил шапку и зашагал к Литейному мосту.

Ночью новый штабарм приступил к работе.

По стенам, заборам и столбам бились подвешенные на тесемках и шпагате телефонные провода. На них позвякивали деревянные ярлыки Зимнего, Смольного, дивизионных штабов, Петропавловской крепости.

Черновик донесения был написан без помарок, чернильным карандашом, на двух листах. Когда первый покрылся крутым строем букв, в дверь ударил голос, который был сразу словлен и придушен телефонным звонком:

– Переписать!

Второй листок кончался абзацем:

При настоящей обстановке, когда части 2-й и 6-й дивизий совершенно почти не оказывают сопротивления противнику, оставляют позиции, что разлагающе действует на выдвигаемые на поддержку им подкрепления, возможно ожидать в самом ближайшем времени прерыва противником Николаевской ж. д. Средства Петроградского укрепленного района мало боеспособны, и оборона его не налажена. Ввиду создавшейся крайне серьезной угрозы Петрограду, прошу о направлении в район Тосно боеспособных подкреплений в количестве не менее двух бригад, дабы парализовать возможность продвижения противника со стороны Гатчины на Тосно и воспрепятствовать намерению его овладеть Петроградом. Штаб армии переходит сего числа в Петроград.

– Переписать!

Это было первое донесение нового штаба армии штабу Северо-Западного фронта. Оперативная сводка фронта в этот день гласила, – предпоследний абзац:

В Ямбургском направлении наши войска после упорных боев оставили Гатчину.

Последний абзац:

В Лужском районе под давлением противника наши части отходят на линию Виндавской жел. дороги.

В домах есть лестницы, перепутанные и безлюдные; чуланы, куда, кроме кухарок, заходят одни мыши; сараи, каретники и чердаки с дверями, закрытыми даже для псов; сени, кладовые, тупики коридоров.

Вот по этим лестницам, в этих сараях, на этих чердаках губы шепчут отчетливей и кулаки чуть-чуть показываются из-за пазух. Заброшенность каретника, безмолвие сарая, пустота коридора, где самый опасный свидетель – паук, окруженный пыльными пустобрюхими трупами мух, – преисполняют отвагой души, удел которых – трепет.

Губы шептали отчетливо:

- Из каждого окна – флаги! Национальные флаги!
- С каждого чердака – фейерверк! Торжественный, помпезный фейерверк!
- Из каждого подвала клики освобожденных! Радостные, исступленные клики!
- Из-за каждого угла – цветы! Ароматные, пышные цветы!
- Отовсюду! Отовсюду!

О флагах и фейерверках, кликах и цветах шептали губы по чердакам, чуланам, словно в ответ на приказ, который поднял на дыбы окаменелую столицу. В каретниках, сараях показывались втихомолку кулаки – наперекор призыву, расклеенному по улицам и убеждавшему граждан, что у гигантского города хватит пулеметов, гранат, винтовок, наганов, и для разгрома белогвардейцев нужно только, чтобы несколько тысяч человек решили не сдавать Петрограда.

Несколько тысяч человек решили.

Но Литейный, каким застал его Андрей, словно не знал этого.

В вязкой темноте проспекта приплюснутые туманом люди волочили за собой мешки, узды, корзины.

Бросались в стороны, прилипали к помятым, продырявленным трамваям, вырывавшим своими отвислыми буферами торцы и камни из мостовой.

Обезумевшими глазами хватали с обрывков нового приказа на стенах бесстрашные слова:

**ЗА ДЕЛО!
ВСЕ В РЯДЫ!
БЕЙТЕ ТРЕВОГУ, ВРАГ У ВОРОТ!**

Перехватывали половчей мешки, подбирали хлопавшие по грязи полы, рассыпались цепью вдоль трамвайного полотна.

Спасались.

И вдруг среди этих бредивших погибелью беглецов Андрей увидел женщину, переходившую дорогу с размеренностью заведенной куклы. Женщина шла под зонтом. Она была повязана косынкой, и платье ее было опрятно. Свернув неторопливо зонтик, она наклонила голову и зашла в подъезд. Андрей двинулся за ней.

Над дверью под хмурой лампочкой он прочел:

Зайди и послушай
Слово евангельское, Зовем тебя. Вход
Для всех свободный.

За скамьями, расставленными, как в театре, в полутьме сумрака кучились коленопрекленные женщины. Со школьной кафедры говорил широкогрудый человек. Слова его были раздельны, но не вязались ничем, кроме голоса – приглаженного и крадущегося, подобно тихим движениям проповедника.

...Деятельность совести нужна нам, чтобы человек не успокаивался на ложных перинах нашей жизни. А я знаю, искупитель мой жив, как сказано у пророка Иова. Братия и сестры, вечность гарантирована нам, станем за Христа. Потому что сказано в Послании к коринфянам: Пасха наша – Христос заклан за нас. Помолимся же, братия и сестры, совместно о наших скорбях и текущих потребностях...

Оратор скрестил руки на кафедре и положил на них голову. Черные кучки за скамьями колыхнулись и притихли. Чей-то придушенный голос забормотал невнятное. Потом из бормотания выкарабкались и заплескались по комнате прерывистые слова:

– Дорогой господи, я женщина бедная...

– Господи, дочь у меня слабая...

Вдруг в плеске выкриков и всхлипываний Андрей расслышал странно знакомый голос. Он вслушался в него, шагнул вперед, отыскивая говорившего. У самой кафедры он различил высоко закинутую голову. Пенсне на носу дрожало и ползло вниз, вспыхивая радужными искорками, а голова поднималась с каждым словом выше и выше:

– Господи! Прости моего сына Льва и наставь его на путь правый... Сына Льва... Моего сына Льва, обокравшего отца и родственников, господи... И моего другого сына, Алексея... господи...

Кто-то захлебнулся в приступе рыданий, и сразу визгливые вопли завертели над державшимися наклоненными головами в черных косынках.

И только одна голова была неподвижна, как камень: голова проповедника, лежавшая высоко на кафедре, широким затылком к братьям и сестрам.

Как попал сюда Андрей? Что толкнуло его следом за женщиной, похожей на заводную куклу? Где она теперь? Неужели – безликая, неслышная – она появилась, чтобы столкнуть Андрея с дороги, по которой так легко и бодро ступать?

Он бросился к выходу. Упрямые буквы плаката ткнулись ему в глаза:

Иди и впредь не грехи

Вон отсюда, вон! На проспект! На проспект! В котловину серых шинелей, в поход, в вечный поход, – да будет этот поход вечным!

Какое-то лицо с растянутыми в проволоку губами, точно ножом, полоснуло Андрея отточенным взглядом и обернулось к красноармейцу, бежавшему вслед за ним.

– Мы еще посмотрим! – расслышал Андрей.

– Еще посмотрим! – крикнул красноармеец и обрадованно захохотал, рысцой догоняя своего товарища.

– Еще посмотрим, – пригрозил кому-то Андрей, и вдруг на него подул кислотоватым запахом хлеба. Запах был едва уловим, но от него забило сердце, как от наркоза.

Андрей осмотрелся, чтобы решить, куда идти. Люди двигались поредевшими встречными вереницами. Лица были землисты и плоски. Андрей перехватил взор чьих-то бесцветных глаз. За отупелым, недвижимым блеском их он увидел звериную боль голода. И тотчас что-то грузное потянуло его за плечи к земле, и он качнулся.

Голод, голод двигал всем проспектом! – показалось Андрею. Все это смятение, весь этот бег человеческих тел, весь этот нескончаемый поход народа в серых шинелях – бег на месте, поход вокруг черного остова голодной смерти!

Скорее в тайный угол конуры, домой, домой! Туда, где краюха хлеба.

В сумке, которую привез Андрей из Семидола, было еще много хлеба. Так много, что хватило бы на целый вечер и на целую ночь. Но сумка осталась у Щепова на кожаной кушетке. Андрей вспомнил об этом за весь день всего два раза и знал, что пойдет к Щепову, что больше некуда идти. Но было страшно думать, что уже настало время просить о ночлеге.

Он сорвался с места, и проспект привычно понес его по своим промозглым торцам.

В доме, который должен был стать его приютом, на лестнице, у двери квартиры Щепова, Андрей дождался Сергея Львовича.

Но Сергей Львович пришел не скоро.

Из общины евангельских христиан он возвращался медленно, заложив за спину руки и останавливаясь перед разрушенными домами, чтобы покачать головою. В походке его, одернутой и сломанной временем, еще таилась черта пенсионера: он не спешил, он нес несуетливо свою заслуженную особу четвертого класса.

Прежде чем войти в квартиру, Сергей Львович зашел к председателю домового комитета.

– Здравствуйте, – сказал он, снимая фуражку и присаживаясь. – За копанье окопов полагается фунт хлеба. Я пришел спросить, выписан ли мне хлеб или еще нет?

– Так ведь вы не копали, – ответил председатель.

– Копала моя квартира, согласно списку. В чьем лице квартира копала – это безразлично. Квартиронанимателем являюсь я, стало быть, юридически, мне причитается фунт хлеба. Кроме того, теперь не такое время...

И Сергей Львович постучал папироской по ногтю большого пальца.

Петербург готовился к встрече высокого гостя.

Высокий гость, собираясь вступить в столицу, задержался в летних императорских резиденциях. Но гонцы и скороходы уже подходили к столичным заставам, чтобы проверить, готова ли столица принять и чествовать гостя. Гонцы и скороходы редко возвращались от застав в летние резиденции, потому что Петербург – город императорских традиций – нельзя застать врасплах и потому что столица всегда знала толк в обращении с послами высоких гостей.

Петербург готовился к встрече высокого гостя.

Благородные институты – Смольный и Ксеньинский – искушенные в приемах высоких и высочайших особ, некогда гордые своим прошлым, а теперь уверенные в будущем, с честью возглавляли трепетные заботы и неусыпные труды столицы. Надо было расцветить весь город. Надо было украсить въезд. Соорудить триумфальные арки. Возвести помосты, расставить почетные караулы, выкинуть штандарты и заслуженные знамена.

Чтобы из каждого окна – флаги! С каждой крыши – фейерверк! Из-за каждого угла – цветы!

Ах, из колючей проволоки режется прекрасный серпантин! А из его упругих лент вывязываются легчайшие банты в петличках режиссеров. И разве точеные снаряды, заряженные картечью, не разлетятся пестрым и веселым конфетти? А толстые, набитые мокрым песком мешки ужели неудобны для сооружения киосков? Когда-то хлопали в таких киосках пробки выдержанного сек'а, но чем же хуже пробок воющий треск хорошо смазанного пулемета?

Благородный Смольный плел и резал колючий серпантин, и благородный Ксеньинский выводил причудливые киоски из мешков, набитых песком.

И вот все было готово, и конфетти, завязанный в стальные сумочки, покойно ожидал своего часа, и из киосков выглядывали головы в красных платочках, и оставалось только дернуть шнур восьмидюймового орудия на Лиговке, чтобы салютовать вступлению высокого гостя в Петербург.

Но высокий гость не вошел в столицу. Он уклонился от чести. Он был неверно понят. Он не искал такой пышной встречи. Он никогда не думал, что его появление вызовет такой подъем. Он ожидал, что все будет проще. Он увидел, что ошибся, и повернул спиной к столице, чтобы уйти навсегда, – бедный, непонятый высокий гость.

А как досадно! Какую жаркую встречу приготовил ему Петербург!

Вот что сказал Андрею человек с качким восточным акцентом, когда нашлось время, чтобы произнести что-нибудь, кроме команды:

– Революции нужен писарь. Ты умеешь писать, – пиши.

Тогда Андрей закричал не своим голосом:

– Я не хочу писать! Мне отвратительно возиться с бумажонками, когда кругом бьются насмерть!

И человек с акцентом ответил покойным голосом, с призрачной улыбкой на скуластом лице:

– Товарищ дорогой, почему ты думаешь, что каждый человек в революции должен стрелять из ружья? Может, вся твоя революция бумажная?

И потом, отходя в сторону, обернулся и добавил почти нежно:

– Революция не любит, чтобы ей возражали. Надо быть всегда веселый...

Правда, и в это время находились люди, не терявшие радостного духа веселости.

Комиссар дивизии, в которой служил Андрей, собрался жениться на беленькой женщине в заячьей шубке. Комиссар был гостеприимен, любил людей, товарищей и братьев по войне. И он захотел справить свадьбу на славу, как справляют этот праздник в степи, на просторе, под небом. У него не хватило лошадей, и он попросил дивизионного врача одолжить ему круглую кобылку, на которой врач разъезжал по городу. Врач одолжил: в городе стало спокойней, войска оправлялись, можно было день-другой походить пешком.

Но день-другой прошли, а кобылку врачу не возвращали. Он все не мог повстречать комиссара и наконец догадался спросить о своей лошади его жену – беленькую женщину в заячьей шубке.

– Кобылку? – удивилась женщина в шубке. – Милый доктор, но мы ее тогда же, на свадьбе, освежали и роздали гостям! Если бы вы знали, какие у нас были гости!

И она залилась смехом...

Вот если бы Андрей умел смеяться. Может быть, глаза его не ввалились бы тогда так глубоко и походка его была бы тверже и прочней? Но каждый день подбивал его, как ветер – птицу, и все кругом него становилось странным и едва уловимым.

И однажды, в снежный вечер, возвращаясь домой, он остановился на углу и взглянул вокруг себя удивленно, точно его перенесло на эти улицы из другого мира. Мокрый снег бил по бурым облупленным стенам с остервененьем. Люди бежали, казалось, без всякой цели, и во всем, что обступало Андрея, нельзя было поймать смысла, обычного и простого в живом городе.

Какая-то девочка, в отрепьях на голове, в коротком платье, сжав что-то за пазухой, переминалась на длинных, очень тонких ногах подле заколоченной двери. Лица ее не было видно. Что вы сказали, гражданин?

Высокий, костлявый человек уставился пустыми глазами на Андрея. Рот его был приоткрыт, и с отвислых полей шляпы на промокшие плечи капала вода.

– Вы, кажется, что-то сказали сейчас? – повторил он.

– Я сказал? – спросил Андрей.

– Вы ничего не сказали?

Высокий человек приблизился вплотную к лицу Андрея и осмотрел его внимательно.

– Гражданин, подайте на кусок хлеба, – вдруг пробрюзжал он, и рот его открылся еще больше.

– Хлеба? – спросил Андрей.

Человек постоял некоторое время молча, с застывшим лицом, с вытаращенными глазами, потом повернулся и быстро побежал за угол.

Прошел старик, с туловищем, наклоненным вперед, и ногами, отстававшими от туловища на полшага. Ступни его были обернуты промокшим, тяжелым тряпьем, и на тротуаре позади

него оставались следы, как от швабры. Он остановился против девочки и о чем-то спросил. Потом нагнулся к ней и опять что-то сказал. Тогда она пронзительно вскрикнула и бросилась в сторону через дорогу. Тонкие, длинные ноги ее замелькали перед Андреем голыми, блестящими от воды коленками. Андрей сделал несколько шагов следом за девочкой. Она куда-то пропала.

Хриплый, сначала придушенный, потом резкий, все учащавшийся звон заливал улицу. Не понять было, откуда он шел. Потом внезапно грузный шум накатился на Андрея сверху, с боков, из-под земли и сразу стих, слизнув собою заливший улицу звон.

В тот же момент кто-то подбежал к Андрею и взял его за руку. Он обернулся. Желтый, бессильный, мутный фонарь слепой мишенью смотрел ему в спину. Гвалт охрипших глоток прорезала горластая бабья брань:

– Ч-черт! Я ему звоню, а он – ч-черт, право!..

– Что же это вы? – произнес чей-то тихий голос.

Рука, за которую Андрея, как слепца, отвели на тротуар, осталась протянутой... Потом Андрей что-то понял и захотел кого-то поблагодарить и, как слепец, стал искать протянутой рукой опоры.

И его рука натолкнулась на чьи-то тонкие холодные пальцы. Он схватил их и притянул к себе.

– Благодарю вас, – сказал он.

Испуганный, дрожащий крик хлестнул его по лицу:

– Андрей!

Он сожмурился, как от удара, вглядываясь в черные круглые глаза, стоявшие перед ним.

– Андрей, это ты, Андрей?

Он бросился к женщине, охватил ее голову – холодную, залепленную мокрыми волосами, отыскал губы, прижал их к своим, затих.

– Рита, – проговорил он невнятно, – как ты очутилась здесь?

– Приехала, ищу тебя...

– Пойдем, тут народ, – сказал он, уводя ее в боковую улицу.

И сразу улицы стали отчетливы и все приобрело жесткую ясность.

– Какая бессмыслица, – сказал Андрей.

Рита перебила его торопливо:

– Что с тобой, ты как безумный стоял на дороге, я насилу узнала тебя. Ты нездоров, Андрей?

– Погоди, ты говоришь, что приехала ко мне?

– Да, Андрей. Я не могла больше.

– Ну конечно, не могла, истосковалась!

– Андрей!

– Что Андрей? Какая чушь, какая бессмыслица! А если я сегодня уеду на фронт? И потом, ты ведь знала, что я уехал на фронт? Что я на фронте? Как ты могла... Нет, это черт...

– Андрей...

– Ах, брось! На что ты рассчитывала? Откуда ты взяла, что я живу здесь? Что ты будешь делать?

– Я знала, что ты служишь здесь. Ведь прошло два месяца. Я думала...

– А ты думала, что я получаю семьдесят два золотника хлеба в сутки? Думала, что свалишься где-нибудь под забором? Наконец – может быть, я убит? То есть ты думала, что я мог быть убит? Ну, не убит, так мог сто раз умереть с голоду?

– Послушай...

– Ну куда ты сейчас пойдешь?

– К тебе.

Он остановился, взмахнул руками и хотел крикнуть, но Рита опередила его крик тихим, каким-то падающим стоном:

– Мне больше некуда, Андрей!..

Он выдохнул из себя набранный для крика воздух и посмотрел на нее. Глаза ее были влажны, и веки охватывали их омертвелыми синими кольцами. Обветренные губы подергивались, как будто сиюсь выговорить какое-то слово.

– Конечно, некуда больше, – пробормотал Андрей, отвертываясь от Риты и продолжая стоять.

– Я хотела тебе сказать... – услышал он тот же стонущий, куда-то падающий голос.

Он вздрогнул, тут же поежился, запрятал пальцы в рукава шинели и произнес слово, которое всегда приободряло:

– Ерунда!

– Я хотела сказать, почему я приехала.

Он не шелохнулся.

Тогда Рита прислонилась к его руке и шепотом, быстро проговорила:

– Я должна была приехать. Я беременна.

Андрей отскочил в сторону, прижался к мокрой стене. Ладонями он поглаживал скользкий камень, ноги его согнулись в коленях, и полы сырой, тяжелой шинели дрожали. Он долго молчал, уставившись ввалившимися глазами в какую-то точку над головой Риты. Потом чуть слышно прошептал:

– Как же ты...

– Я не виновата, Андрей...

– Нет, нет! – воскликнул он, отрываясь от стены. – Как глупо! И вообще...

– Андрей!

– Нет, нет! Я говорю, почему же ты ничего не сказала? То есть почему ты не сказала сразу, как только я спросил?

– Ведь ты не спрашивал, – проговорила она дрогнувшим голосом.

Он засмеялся обрывисто, необычно, подхватил ее за руку и повел быстро, почти бегом.

– Что же мы стоим? Что же мы стояли? Какая ты чудачка! Надо было...

– Ну, Андрей, откуда я могла знать, что ты...

– Что я – что? Что я?

Она заглянула ему в глаза снизу вверх, выгнув голову как-то по-птичьи, и молча улыбнулась.

Они шли безлюдными улицами, крепко прижавшись друг к другу, и он пристально рассматривал дорогу, обходя вывороченные камни и поблескивающие меркло лужи.

Потом он тихо спросил:

– Тебе не холодно, Рита?

Клубок

На лестнице ранним утром Андрей столкнулся с профессором. Он узнал его по росту и по движениям головы – коротким, вздрагивающим и частым. И лицо его – это можно было разглядеть на площадке, где утренний свет успел уплотниться, – лицо его тоже подергивалось, изрезанное на кубики перекрестными глубокими чертами. Он потряс Андрею руку и изумился:

– Какие чудеса! Знаете, прямо не верится. Будто не живешь, а обретаешься в книге, в замечательной какой-то книге. День за днем, страница за страницей – от чуда к чуду.

Андрей слушал, глядя в окно. Обернуться и смотреть в моргающие, блестящие, как фольга, глаза этого маленького человека, который непрерывно сжимался и разжимался, точно пружинка, – не хватало силы.

– Исключительное время! – воскликнул профессор и пододвинулся к Андрею. – Скажите, – заговорил он вкрадчиво, – вы, вот вы, молодой человек, уверены? А, уверены? Так, про себя, когда разговариваете сами с собой, наедине, уверены?

Он не дождался ответа и опять горячо и торопливо воскликнул:

– Никакого сомненья, у меня – никакого сомненья! Я ничего подобного не переживал до сих пор. Что-то чудесное! И не знаю почему. Меня прямо что-то носит по земле.

– Я знаю это чувство, – глухо сказал Андрей.

– Вы непременно должны знать! Еще лучше меня! Если бы я был на вашем месте! Понимаете, я целую неделю ходил вокруг Смольного. Ходил и смотрел, только смотрел, больше ничего...

Профессор помолчал, потом засмеялся:

– Как гимназист на свиданье – каждый день в определенный час. И – поверите ли? – хожу, смотрю на дом и чуть не задыхаюсь.

– А на вас не нападает усталость? – вяло спросил Андрей.

Профессор притих.

– Как вам сказать... конечно. Я не очень здоровый человек. Хотя теперь и здоровому человеку...

Он украдкой, точно виновато, покосился на Андрея.

– Я слышал, что к вам приехала...

И вдруг он весь зашевелился – от маленьких коротких ног до мельчайших желвачков и кубиков лица.

– Я давно хотел повидать вас, чтобы... Видите ли, мне привезли из деревни муки... знакомые, я там раньше...

– Нет, зачем же, – проговорил Андрей, насупившись.

– Я предполагал, что вам теперь очень тяжело, с приездом жены...

– Жены? – переспросил Андрей и потом ответил сам себе: – Ну да, Риты... Нет, зачем же, вам самому...

Профессор прикоснулся к его руке шероховатыми кончиками пальцев.

– Даю вам слово, что вы не обидите меня. У меня много. Я занесу вам. Занесу, хорошо?

Он бросился по лестнице вверх и, перегибаясь через перила, выкрикивал беспокойно:

– Занесу, занесу!.. Нечего деликатничать... Занесу!

Рита куталась в платок, забравшись с ногами на кушетку и напролет просиживая хмурые вечера. Надо было беречь тепло, скопленное под платком, и она не двигалась часами.

Ее не было слышно, но лицо ее – белое, с потрескавшимися, сухими губами, с тлеющим неподвижным взглядом – виднелось отовсюду, из каждого угла, как будто комнату заставили мутными зеркалами, не отражающими ничего, кроме этого лица.

Она не поворачивалась, но видела Андрея так подробно, точно держала в руках его голову. И Андрей, сидя к ней спиной, видел тончайшие черточки ее лица, и складки платка, и колени, упирающиеся в подбородок, и рассыпанные по платку волосы.

Они ждали ребенка.

Он должен появиться не скоро, в каком-то неясном далеком будущем. Должен был появиться, всосав в себя последнюю кровинку матери и поглотив последнюю капельку ее жира.

Жир когда-то развозили в бочках, затянутых толстыми обручами; жир когда-то валялся невзвешенными, немереными комьями на прилавках, покоробленных его тяжестью; жиром когда-то были завалены, забиты, закупорены погреба и подвалы; жир когда-то не жрали базарные псы, потерявшие на него чутье, – да, да, этот самый жир.

Чтобы получить невесомый кусочек его, надо было ждать семь бесконечных дней. Чтобы скопить одну каплю его, надо было беречь тепло, беречь ничтожные силы одряблевших мышц, запрятавшись в платок, как в гаюшку. Одну каплю, нужную для ребенка, который неотвратимо должен был появиться в неясном будущем, – появиться уродом, с мягкими, гнущимися костями, без ногтей на руках и ногах.

Ради этого урода, ради неосязаемой, невидимой ткани, выраставшей в урода, Рита сидела неподвижно, сжавшись в комочек, и Андрей боялся нарушить тишину, чтобы не рассеять скопленного Ритой тепла.

Но тишину нарушил Сергей Львович.

Он влетел в комнату, скрестил руки и угрожающе процедил:

– Тэ-эк-с, тэ-эк-с!

Пенсне его задрожало и поползло книзу. Он запрокинул голову.

– Тэ-эк-с! – повторил он, пристукивая подошвой по полу. – Вот как вы, Андрей Геннадьевич, отблагодарили меня за гостеприимство? Недурно. В порядке современных вещей. Вы думаете, по всему вероятно, что имеете дело с дураком? Ошибаетесь, ош-шибаетесь!

– Что такое? – проговорил Андрей.

– Ах, вы не пони-мае-те? Вам невдомек? Скажите, какая невинность!

– Да говорите же, в чем дело! – крикнул Андрей, отпихивая от себя стул и выпрямляясь.

Тогда Сергей Львович шагнул к Андрею, решительно сунул руки в карманы и посыпал давно отмеренными словами:

– Вы очень хитры, молодой человек. Вы пользуетесь каждой минуткой, чтобы пополнять свой бюджет за мой счет. Стоит мне отвернуться, как у меня что-нибудь пропало. Вы не изволите гнушаться ничем, как старая кухарка. Вы...

– Что же ты молчишь? – вскрикнула Рита.

– А что же ему говорить? Что ему говорить, когда вот только что, вот четверть часа назад, пока я сбегал в лавку, у меня восьми золотников масла как не бывало! Я не успел запереть, торопился в лавку, оставил на столе, в полоскательнице, в соленой воде, так – кусок с полфунта. Сверху я его крестиками пометил, это я всегда. Пришел, смотрю – крестики целы, а масла как будто ubyло. Я на весы. Восьми золотников не хватает. Хитро-с, хитро, молодой человек! Да только я хитрей вас. Вы изволили ножичком снизу срезать этакий ломтик. Плавает, мол, кусок и плавает, кто разберет, что у него внизу, если наверху все в порядке.

– Андрей! – простонала Рита.

– Это в благодарность за то, что я вас, можно сказать, на улице подобрал? Это в благодарность за то, что, так сказать, ваша супруга...

Андрей качнулся, точно его столкнули с места, подошел к Сергею Львовичу, взял его за плечи, повернул и вывел из комнаты. Сергей Львович не только не оказал сопротивления, но даже как-то очень поторопился, забыв закрыть рот, и в дверях повернулся бочком, чтобы легче пройти. Но за дверьми вдруг затопал и завизжал пронзительно:

– Во-он из моего дома, во-он!

Андрей закрыл дверь и посмотрел на Риту. И тут же снова рванул дверь и сквозь визг, носившийся по коридору, сжав ладонями голову, побежал вон.

На лестнице ему в лицо плеснуло холодным сквозняком. Он остановился. Вернуться в комнату за шинелью и шапкой он не мог. Он поднялся этажом выше и постучал в квартиру профессора. Никто не отозвался. Он стал стучать сильнее, прислушиваясь, как стуки глохли в квартире и пропадали в тишине. Потом он начал неистово бить в дверь сапогами, и по пролету лестницы от чердака к подвалу зарокотал тяжелый гул.

Чей-то голос раздался позади него.

– Вы к профессору? – расслышал он и обернулся.

– Да, к нему.

– Не отвечает?

– Нет.

– Он в это время всегда дома.

– Да, я знаю.

– Ну-ка, постучите еще.

Андрей постучал. Прислушался. Было тихо. Позади Андрея звякнула цепь, и в темноте появился высокий, слегка сгорбленный человек.

– Странно, что-то давно не встречал его, – проговорил он и потрогал дверь.

– Может быть... – начал Андрей.

– Может быть, конечно, все может быть, – перебил высокий. – Пойдемте в комитет.

– Неужели вы думаете... – опять начал Андрей; и опять его перебил высокий:

– Думаю? Конечно, думаю... почему же не думать?

По темным лестницам, по узкому, отдававшему голоса двору, по подъездам, в которых свистел ветер, ходили двое, потом – трое, четверо, пятеро, медля и задерживаясь повсюду, словно боясь приступить к делу.

Потом долго стучали в квартиру профессора, прислушивались, снова стучали. Потом переспрашивали друг друга, когда видали профессора в последний раз, не мог ли он куда-нибудь уйти, или уехать, или где-нибудь заночевать.

Наконец туповатый, с обитым лезвием топор въелся между створок двери, и она сухо, точно подпаленная, затрещала. И тогда все, как по сигналу, начали советовать вперевивку, как ловчее взломать дверь. Но как только замок подался и стало видно, что со следующим усилием дверь распахнется, опять все притихли.

Андрей вошел в квартиру вторым, следом за председателем комитета. Из комнаты в комнату переходили боязливо и молча. Чиркали спичками, отыскивали за косяками выключатели, пробовали, есть ли свет. Снова зажигали спички, обходили пустые углы и шли дальше.

Из дальней в коридоре комнаты, когда приоткрыли дверь, выполз мягкий розовый свет.

– Так и есть, – сказал председатель и обернулся к Андрею, – мы не догадались посмотреть со двора на окна.

– Да они занавешены, – отозвался кто-то.

– Ну, скорей!

Председатель открыл дверь вытянутой рукой. Все осторожно скучились у входа.

Матовый свет настольной лампы ложился ровным кругом на книги, на пол, на кровать.

Профессор лежал на постели, закинув голову, острым крутым подбородком вверх. Весь он вытянулся в струнку, стал длинным, точно вырос с тех пор, как в последний раз был на людях. Морщины на лице его изгладились, желвачки и кубики, такие, подвижные и очерченные при жизни, пропали: он помолодел. На ровном лбу его лежало спокойное пятно света.

Все тихо подошли к нему, внимательно осмотрели, потом разбрелись по комнате, не глядя друг на друга. И так как никто не говорил и нечего было сказать, Андрей произнес чуть слышно:

– Мыши-то что наделали...

Тогда все повернули головы и стали живо рассматривать мучной мешок, прислоненный к книжному шкафу. Он был прогрызен со всех сторон, раздерганные лоскуты холста свисали на пол, и по паркету к плитусам тянулись узенькие белые следы.

– Это надо прибрать, – сказал председатель, и сразу трое бросились к мешку и потащили его вон.

В течение года, может быть двух, происходили столкновения, ссоры, драки, случилось даже убийство, хотя никто из виновников не хотел принять греха на себя. Наконец до сознания этих людей дошло, что они живут в новую эпоху и мир с сего числа отвергает все прошлое и пережитое. Решено было учредить артель на началах профессиональной солидарности. Правда, эта артель была обречена на негласное существование: о ее истинных целях нельзя было обмолвиться даже при кладбищенском настоятеле. Но тем прочнее и строже оказался ее неписанный устав.

Кладбище было разбито на семь участков, и каждый участок отдан в ведение двум могильщикам. Тут нужно сказать несколько слов о самом кладбище, как ни мало благодарно его описание. Кладбище простиралось по широкой равнине, за разбросанным унылым пригородом и в старой своей части заросло тополями. Церковь чуть проглядывала сквозь густую наветь деревьев. Новые участки были пустынные, если можно назвать пустынной необозримую слободу могильных холмов. Вокруг церкви кучились старинные мавзолеи, часовни, тяжелые надгробные плиты.

Но дело не в мавзолеях и не в пышных памятниках. Этот участок, когда-то самый доходный, в последнее время захирел, как деревенский погост, и за два года принял всего одно свежее тело, да и то бездоходное, – тело кладбищенского отца дьякона, умершего от тоски.

Памятников давно уже не ставили и склепов с часовнями не сооружали. Но кресты еще не вывелись из обихода, и кресты, именно кресты, помогли могильщикам осознать свою природу и учредить артель для планомерной охраны своих интересов в переходную эпоху.

Кресты, что, впрочем, общеизвестно, бывают чугунные, железные и большей частью деревянные. Чугунные непригодны для чего-нибудь практического. Это, в сущности, хлам, вроде каменных надгробий, памятников и часовен. К счастью, чугун отошел в предание вместе с классными, или классовыми, похоронами, и резервы крестов пополнялись в эти годы только железом и деревом. Кованые железные кресты из крутых завитушек, вроде церковных решеток, ничем не практичнее чугунных. Зато полые кресты из листового железа, раскрашенные обычно под березу, легко применимы в хозяйстве. Из них, без особой подготовки, каждый может сделать дымоходное коленце для железной печки, или самоварную трубу, или удобный водосток. Таких крестов было довольно много на просторе отдаленных от тополей участков, и при разумной эксплуатации запаса их могло бы хватить на долгое время.

Трудность распределения участков между членами артели состояла в том, что не во всякой части кладбища находилось одинаковое число деревянных крестов. Артели пришлось поэтому проделать большую предварительную работу по инвентаризации имущества, оставшегося после старого режима. Но в процессе этой работы обнаружились новые трудности, потому что, в отличие от прочих областей общественности, в области кладбищенского дела старый режим прогнил, так сказать, не насквозь, а только частью, хотя гнилых крестов и обнаружилось при подсчете больше, чем сохранившихся. Однако раз пробудившаяся сознательность помогла артельщикам прийти к мудрому решению: два гнилых креста были приравнены одному негнилому твердой породы – из расчета, что одно крепкое полено дает столько тепла, сколько два трухлявых.

Когда таким образом основы объединения были найдены, могильщики предложили кладбищенскому ктитору возложить на них охрану стихийно расхищаемых крестов.

Ктитор согласился. После того опустошение кладбища совершалось уже планомерно, и среди могильщиков воцарилась философическая созерцательность, издавна подмеченная в этой профессии и вполне свойственная ей одной.

Два дня спустя после того, как была обнаружена смерть профессора, на кладбище пришел молодой обтрепанный студент и справился в конторе, как ускорить погребение давно умершего человека. В конторе стали говорить о порядке получения ордеров на гробы, на могилы, о регистрациях, записях, очередях. Кончилось тем, что студента послали на кладбище искать могильщиков. Он встретил одного из них и рассказал ему о своем деле. Могильщик назначил цену, которая привела студента в ужас.

– А кто покойник? – спросил могильщик.

– Ученый, – ответил студент.

– Стало быть, с голоду?

– Нет, не с голоду.

– Если не с голоду, тогда должно быть чем заплатить.

– В том-то и дело, что нечем. Было бы – я бы не торговался.

– Дешевле нельзя. Не можете – тогда в очередь, через недельку-полторы...

– Таких денег нет, – сказал студент.

– Мы не добровольцы, у нас по таксе... Воля ваша.

– Нет, таких денег мы заплатить не можем, – решительно повторил студент.

Могильщик подумал и спросил:

– А хоронить будете по-православному или по-гражданскому?

– По-граждански.

– Тогда дороже.

– Это почему же?

– Как сказать... От православного какой-никакой доход: глядишь, за крестиком накажут посмотреть, чтобы не слямзили... Да разве усмотришь? В дровишках-то нужда... А по-гражданскому – что от него проку? Закопают, да и ладно. Намедни схоронили летчика, на могилу дубовый винт поставили, от машины. Что с него возьмешь, с винта? Его не уколупнешь, он как железный. За такие деньги, что вы даете, по-гражданскому нет расчета.

– Как же нам быть?

– За такие деньги могилу вырыть – еще куда ни шло. А хоронить – как вам угодно.

На том и было решено: яму выроют могильщики, а опустят и закопают покойника прожатые.

Отдать последний долг профессору явилось четверо студентов, худощавый рыжебородый человек, похожий на учителя, и университетский швейцар.

Мороз в этот день надломился, и серый мелкий дождик поросил, как сквозь сито. Кучка людей, жавшихся от холода, с мокрым, обвисшим красным знаменем, дожидалась гроба под воротами. Гроб вынесли жильцы дома, поставили на телегу и, перекрестившись, велели трогать. За телегой пошли студенты со знаменем, худощавый человек, похожий на учителя, швейцар, Андрей и председатель домового комитета. И так как было тяжело нести мокрое знамя, его положили на гроб, и от тряски оно плотно облегло крышку, прилипнув, как обивка.

Когда засыпали могилу, Андрей стоял в стороне, глядя вверх бесчисленных насыпей с редкими крестами. Он слушал, как падали в яму размытые дождем комья грязи, как звуки падения становились короче и резче, приближаясь к поверхности земли. И ему казалось, что профессор, так нечаянно появившийся в его жизни, унес из нее какую-то последнюю возможность сказать о самом важном. Что это было – самое важное, Андрей едва ли знал. Но у него было такое чувство, будто чья-то жестокая рука держала его за горло, и он понимал, что она не отпустит его, пока он не выскажет самого важного.

Он покинул кладбище после всех, сутулый, тупой, пронизанный сумеречным туманом. Он не шел, а тащился, почти полз по безлюдным, нескончаемым улицам пригородов. Он был похож на больного, которого выкинули из лазарета, едва он успел переломить болезнь.

Дома ему отворила дверь Рита.

– Тебя ждет какой-то солдат.

– Солдат?

– Да. Он не назвал себя, говорит, что ты знаешь его...

– Странно, – безразлично протянул Андрей и пошел в комнату, все так же, как на улице, изнуренно и тупо волоча повисшее свое тело.

У железной печки, лицом к огню, грелся солдат. Шинель его висела на стуле, около печки. Он сидел на корточках и потирал руки. Когда скрипнула дверь, он поднял голову, огонь перебежал с его лба на полуоткрытый рот, обведенный тонким кругом чуть заметных морщин, и губы его покривились в какое-то подобие улыбки.

– Вот и вы, – сказал он и поднялся с полу.

Андрей разглядел гостя только тогда, когда огонь заиграл на его губах. Он ухватился за косяк. В нем почти мгновенно исчезла вся мягкость. Из расслабленного и сторбленного человека он превратился в одеревенелого, прямого, как столб, истукана. Рита, входя следом за ним и закрывая дверь, отстранила его, он сделал всего один шаг и опять застыл.

– Здравствуйте, – проговорил солдат, подходя к Андрею.

Руки Андрея дернулись назад, как будто он хотел заложить их за спину, потом он бросил взгляд на Риту и быстро пожал гостю протянутую спокойную руку. Солдат тоже взглянул на Риту и поклонился в ее сторону:

– Не имею чести знать имени... вашей... а-а... Она была любезна. Вот видите, я сущусь... Я думаю, не лучше ли нам...

И он ровно произнес по-немецки:

– Нам будет удобнее не говорить по-русски.

Точно от этих непривычных, нарубленных слов чужого языка Андрей всколыхнулся и быстро спросил:

– Как вы нашли меня?

– Увидел на улице. Я отличу вас среди батальона солдат. Потом проследил.

– Почему вы не уехали до сих пор?

– Это длинная история.

– Что вам нужно от меня? Зачем вы пришли?

Андрей выталкивал из себя вопросы с таким напряжением, как будто силился придушить ими отчаянный крик.

– Я мог рассчитывать на более радушный прием, – ответил гость и скользнул сощуренными глазами по лицу Андрея. – Разденьтесь, вы мокрый, – прибавил он снисходительно и пожал плечами. – Как вы взволнованны! Я смотрю на вещи спокойней. Раз навсегда я сказал себе, что каждую минуту я могу умереть. Я готов к самому страшному – к смерти. Поэтому я всегда спокоен. Что может быть опаснее смерти?

– Вероятно – так, если ничего не любишь в жизни, – пробормотал Андрей, стягивая шинель.

Он повесил ее на спинку стула, пододвинул к печке, неторопливо, медлительно, следя за каждым своим движением, и сел.

– Как случилось, что вы не уехали?

Гость опустил рядом с ним.

– Я с большим трудом попал в Москву. На это ушло около месяца. Я пробирался одиночкой. В Москве я в первый раз решил воспользоваться своим новым именем. Оно оказалось не совсем удобным. Я не хочу сказать ничего дурного о его прежнем владельце, но имя кто-то

скомпрометировал раньше меня. Признаться, – ухмыльнулся гость, поглаживая Андрея смеющимся взглядом, – признаться, я подумал одно время о вас...

– Узнали? – шепотом спросил Андрей.

– Узнали, – сказал гость.

Андрей вскочил, кинулся к Рите и в страшном испуге забормотал:

– Узнали, боже мой! Рита, узнали! Рита, пойми, узнали...

Рита сидела на кровати, как всегда – в платке, уткнувшись подбородком в колени.

– Андрей, – проговорила она, дернувшись к нему и высвобождая руки из-под платка, – я не понимаю, о чем вы? Прошу тебя...

– Ах, ты не должна понимать, – простонал он, снова бросаясь к своему стулу, – ничего не должна понимать! Неужели узнали?

Гость помолчал немного, потом, как будто нарочно медля, с расстановкой и паузами произнес:

– Однако ненадолго хватило вашей выдержки. Вы на моем месте давно попались бы. Я, как видите, уцелел.

Андрей схватил его за рукав:

– Да говорите же, черт вас возьми, говорите! Узнали?

– Вот так-то лучше, – сказал гость, и его рот опять передернуло подобие улыбки.

– Узнали, – сказал он брезгливо. – Но я не могу с уверенностью сказать, что именно они узнали. Наверное, им стало известно, что я выдаю себя за другого. Но кто я в действительности – они могут только предполагать. Относительно вас...

– Боже мой! – опять простонал Андрей.

– Относительно вас я ничего не могу сказать. Одно время я думал, что именно вы скомпрометировали мое новое имя. Но потом решил, что это было бы рискованно для нас.

– Рискованно?

Гость пристально посмотрел на Андрея.

– Да. Даже если бы вы пожелали выдать меня, чтобы тем самым несколько упростить свое положение. Потом я вспомнил, что вы русский. Выдавать и предавать – не в духе русских, насколько я изучил их.

– У меня нет охоты философствовать на национальные темы. Я хочу, чтобы вы сказали, что вы думаете... как по-вашему... что известно.

– Ха-ха! Как хорошо вы начали и как путано кончаете! Вы хотите знать, стала ли известна роль, которую вы сыграли...

– Ну да, да! Роль, которую я... не все ли равно? – перебил Андрей. – Говорите!

– Судя по тому, что вы спокойно гуляете в таком большом городе, вас ни в чем не подозревают. Вообще мне кажется, что дело обошлось благополучно. Я почти уверен в этом. Во всяком случае, здесь меня беспрепятственно включили в эшелон.

– Что? Вы были... Вы назвали себя? – вскрикнул Андрей и схватил за плечи своего собеседника.

– То есть не себя...

– Конрада Штейна?

– Успокойтесь, милый мой друг. С этой стороны не грозит никакая опасность. Конрада Штейна больше нет.

– Нет? – отшатнулся Андрей.

– Конрад Штейн умер.

– Я ничего не понимаю!

– Ну, слушайте. В Москве могло все обнаружиться. Я вовремя убежал. Я попал в Клин, оттуда – в Тверь. Там я работал поденно. У меня был товарищ – славный парень, берлинец. Мы ночевали то тут, то там, у нас не было постоянного угла. Где получали работу, там и жили.

Нас нигде не знали как следует. Так что, когда умер этот берлинец, все вышло само собой. Я взял его бумаги, а ему сунул свои.

Андрей сидел молча, как будто не слушая. Гость заглянул ему в глаза и, точно спохватившись, проговорил:

– Нет, вовсе не то! За кого вы меня считаете? Я забыл сказать, что этот берлинец заболел тифом. Я ухаживал за ним недели полторы. Славный парень.

Андрей поднялся.

– Значит, дело о Конраде Штейне прекращено за его смертью?

– Вероятно.

– Значит, мы квиты?

Гость быстро вскочил, сжался, медленно расставил отточенные холодные слова:

– Нет, мы еще не квиты, товарищ Старцов.

– Что вам надо от меня? – опять вскрикнул Андрей.

Гость покачал головой, расправил лицо ласково-насмешливой улыбкой и, подойдя к Андрею, взял его за локоть.

– Милый мой друг, я говорю так, потому что чувствую себя обязанным. Вы сделали все, что может сделать доброе сердце. Но мы еще не квиты. Я обещал доставить от вас письмо вашей невесте. Я считаю это своим долгом. Я даже запомнил ее имя: фрейлейн Мари Урбах, из Бишофсберга, не правда ли? Что же вы молчите? Кажется, я не ошибся? Фрейлейн Мари Урбах, не правда ли?

Андрей закрыл лицо руками.

– Но, видите ли, я затерял ваше письмо. То есть не затерял, а сунул его этому покойному берлинцу вместе с бумагами Конрада Штейна...

– Вы с ума сошли! – почти задыхаясь, прохрипел Андрей. – Ведь если с бумагами Конрада Штейна найдут мое письмо...

– Ну что вы, кому придет в голову связать ваше имя с Конрадом Штейном?

– Не издевайтесь! Вы не смеете издеваться надо мной!

– Я говорю, что думаю.

– Бумаги непременно направят в Семидол, Курту! Ведь Курт поймет все сразу!

– Об этом я не подумал, признаться...

– Послушайте, вы... черт... Послушайте! Найдите себе кого-нибудь еще для шуток! Не забывайте, что вы в моих руках...

Гость повел оттопыренным пальцем перед глазами Андрея.

– Но и вам я не советую забывать, что вы в моих руках. Да... Однако что за раздор, – снова расплылся он, – разве вы не чувствуете, что я благодарен вам безмерно и готов чем угодно отплатить?

– Как вы могли не подумать, что...

– Я пошутил, милый мой друг; поверьте, пошутил. Я сунул покойнику только бумаги Штейна. Больше ничего.

– Письмо осталось у вас? Давайте его, давайте!

– Нет. Письмо я разорвал, чтобы случайно как-нибудь не повредить вам.

– Ах, я не верю, не верю ни одному слову!

Андрей забегал из угла в угол, охватив руками голову и раскачивая ею, как от боли. Гость следил за ним прищуренными глазами и говорил медленно, точно насаживал слова, как наживку на крючки.

– Что вы волнуетесь, милый мой друг? Неужели трудно написать еще одно письмо? Это вам лишний раз доставит удовольствие побеседовать с любимой женщиной. Даю вам слово, что, как только вернусь на родину, я разыщу фрейлейн... Мари Урбах – так, кажется? – вручу ей письмо и расскажу все, что знаю о вас.

– Вы знаете Мари? – спросил Андрей, вдруг перестав бегать.

Гость замолчал и посмотрел на Андрея в упор.

– Нет.

– Не говорите ей ничего обо мне, – сказал Андрей, становясь лицом к лицу с гостем.

– Вы же сами просили меня.

– А теперь я прошу, чтобы вы не делали этого. Не разыскивайте Мари. Не надо.

Гость опять помолчал, потом хлопнул Андрея по плечу, кивнул на Риту и засмеялся.

– Мы совсем забыли даму. Я понимаю вас отлично. Но вы напрасно беспокоитесь: фрей-лейн Урбах ничего не узнает об этом.

И он еще раз кивнул на Риту.

– Будем говорить о деле, – сказал Андрей, заслоня собой Риту. – Зачем вы пришли ко мне?

– Будем говорить о деле, – в тон Андрею отозвался гость. – Я пришел к вам переночевать. Завтра меня отправляют с эшелонам. Я избегаю бывать там, где много людей.

– Хорошо. Дайте мне слово, что вы оставите меня навсегда в покое.

– Даю.

Андрей широкими шагами вышел из комнаты.

– Сергей Львович, – сказал он, войдя к хозяину, – у меня должен переночевать один товарищ. Это необходимо. Я положу его в соседней комнате, на диване.

Сергей Львович всплеснул руками.

– Пойдите, – настойчиво продолжал Андрей, – никаких возражений. Он должен остаться. Иначе будет плохо. Слышите? И – молчок. Никому ни звука. Благодарю вас.

Он повернулся и ушел, не заметив, как Сергей Львович осыпал себя частыми, испуганными крестиками.

Андрей отвел гостя в соседнюю комнату, показал ему диван, прикрыл дверь и вернулся к себе.

Там он постоял несколько секунд неподвижно, провел рукою по голове, потер лоб, щеки, шею. Потом сжал кулаки и проговорил самому себе:

– Он знает ее, знает, знает!

Качнулся, подошел к кровати, положил голову на колени к Рите. Потом закрыл глаза.

Рита обняла его голову, наклонилась над ним. На его губы упала горячая капля. Он тихо спросил, не двинув веками:

– Ты о чем? – и облизал соленые губы. – Если бы можно было начать жить сначала... Раскатать клубок, дойти по нитке до проклятого часа и поступить по-другому. Совсем по-другому...

Рита всхлипнула громко и прикоснулась щекой к его лбу.

– Милый, милый...

– О чем ты? – опять спросил он.

– Кто этот человек, скажи? О чем вы говорили?

Он долго не отвечал.

Было тихо, какие-то далекие гулы слышались за окном. Медленно, неохотно угасал электрический свет.

Андрей повернул голову, уткнулся лицом в колени Риты и – в колени, в платье, в душную теплоту ног – проговорил:

– Этого я никому не могу сказать. Никому.

Глава О девятьсот четырнадцатом

Центрифуга Амура

- Belegte Brötchen!
- Warme Würstchen!
- Bier, Bier, Bier, gefälligst!
- S-s-simplicissimus, Berliner Tageblatt, Lustige Blätter!
- Woche, Woche, Woche!
- Bier, Bier, Bier!
- Belegte Brötchen, warme Würstchen!
- Zigarren, Zigarren, Zigaretten!
- Kladderadatsch, Kladderadatsch!
- *Einsteigen!*²

Сигарный дым голубыми простынями колышется под потолком и мягко пеленает жужжащие голоса. Объемистые животы, потные лысины, белые юбки, крепкие оголенные локти, большие круглые груди под кружевцами и прошивками плавно качаются на сиденьях.

За окнами медленно проплывает дородное, умытое, благословенное солнцем отечество.

В Эрлангене пышный, жужжащий, разряженный поезд вылился на вокзал и потек вниз по узкой улице в конец города.

Андрей с Куртом отделились от толпы, вошли в университетский сад.

Здесь было тихо, теплые тени лежали на дорожках, ясени и дубы заслоняли небо. На стволах желтели полированные дощечки с латинскими надписями, такие же дощечки торчали на жердочках, воткнутых в клумбы. Пахло упитанной, сытой землей и – откуда-то – свежей масляной краской.

– Есть ли у вас это чувство, – спросил Курт, – покойное, миротворящее – чувство родного? Мы довольствуемся пустяками, потому что это наши пустяки. Уверяю тебя, я счастлив, что приехал сюда. Глупый, милый праздник, глупая, милая привычка. Еще раз смотрю вот на этот ясень – какой он старый, рыхлый, ноздреватый. Грибы на нем в прошлом году были мне по пояс. Теперь, видишь, они поползли выше... А вот ворота анатомического театра. Пойдем, я покажу тебе музей.

Из двери, выходящей в сад, по земле стлался холодноватый, сладкий запах йодоформа. В комнате, куда они вошли, вдвинутый в нишу сырой стены, стоял оцинкованный большой сундук. Крышка его была чуть приподнята.

Курт открыл ее. В сундуке валялись человеческие ноги и руки с содранной кожей, куски посиневших мышц, белые кости с раздерганными, как мочало, сухожилиями, багровые, черные, сизые внутренности – кишки, печень, легкие. В уголке сундука, освещенные дневным светом, проникшим через дверь из сада, прижались друг к другу две головы. Затылок одной был оскальпирован, и мелкой кровавой пилкой бежали по голове черепные швы. Шея другой головы – безволосой и хорошо сложенной – была обнята, точно галстуком, пухлой, синей детской ручонкой. Тут и там желтели горки какого-то порошка.

– Пойдем, – сказал Андрей.

² Выкрики продавцов на вокзальном перроне: – Бутерброды! – Горячие сосиски! – Пиво, сигары, папиросы!.. Названия журналов, газет и т. д. Последний выкрик – приглашение кондуктора: – Войти в вагоны!

Курт молча смотрел в сундук.

– Пойдем, здесь задохнешься.

Курт опустил крышку и, улыбнувшись, тихо взял Андрея под руку.

Они прошли просторной, светлой комнатой, уставленной высокими узкими столами, крытыми стеклом. Столы были чисто вымыты, пол блестел, от двери к двери гулял холодноватый, попахивавший камфарой сквознячок. Полумрак сводчатого коридора вел к широкой лестнице. На площадке, подле столика, сидел сторож. Он снял фуражку, спросил:

– Господа желают осмотреть музей?

Потом двинулся вперед.

Один за другим тянулись стеклянные шкафы. В шкафах на стеклянных полках строились по высоте и диаметру стеклянные банки с заспиртованными препаратами человеческих органов. Стекло, спирт и синие, сизые, красные куски, нити, волокна, комки человеческого тела – все, что наполняло просторные, высокие залы.

Солнце безудержно лилось в чистые окна, и по стенам, потолку, полу, на платьях, руках и лицах людей дрожали горячие многоцветные спектры, преломленные шкафами, полками, банками и спиртом.

Вдруг сторож остановился, отставил одну ногу, заткнул большой палец правой руки за борт мундира и открыл неторопливо рот:

– Отделение эмбриологическое. Первое во всем мире по числу препаратов.

Здесь, в баночках, едва отличимых друг от друга по величине, плавали желтоватые комочки зародышей – целый сонм нерожденных душ. Потом тянулись сомкнутые ряды головастых человечков с прижатыми к животам тонкими ножонками и перепончатыми пальцами рук. В конце – в банках вместимостью в ведро – глядели себе на колени дети, похожие на тех, каких видят у своих постелей очнувшиеся после родов матери. Дальше, в другом зале, мутнели на солнце куски мозга, и за ними, под особым стеклянным футляром, осела на дно широкой банки человеческая голова.

Она была низколоба, и через весь лоб ее шли стежки небрежного шва. Карие глаза были открыты, зрачки расширены и устремлены в какую-то цель, стоявшую, наверно, прямо перед ними. Над верхней губой и на щеках торчали в разные стороны короткие, толстые темные волосы, – они были бриты не раньше, как за неделю до смерти. И все лицо, обрубленный кусок шеи и уши были густо-сини. Под футляром стояла дощечка:

ГОЛОВА ЗНАМЕНИТОГО УБИЙЦЫ
КАРЛА ЭБЕРСОКСА
(ПОСЛЕДНЯЯ ПУБЛИЧНАЯ КАЗНЬ
В НЮРНБЕРГЕ)

– Мой отец присутствовал при этой казни, – начал сторож, отставив одну ногу, – и если господа желают...

– Послушай, – вдруг проговорил Андрей, – на кой черт, собственно, мы все это смотрим?

Курт вскинул голову.

– Это знаменитый музей.

– Я приехал сюда на карусели, а не к покойникам.

– Мы успеем и на карусели. Но этот музей...

– К черту музей, к черту Карла Эберсокса, я хочу на воздух, на солнце!

В Эрлангене много воздуха.

Вдыхать его, сидя на балконе с трубкой в зубах и за чашкой кофе, – наслажденье, каким может похвастаться только маленький городок.

За полдень, когда ясно обозначится покойная теневая сторона главной улицы и когда в каждом окне повиснут коврики, подушки и перины, на эрлангенских балконах в покатых креслах полулежат студенты.

Из университетского сада плывут легкие ароматы цветущих деревьев, снизу, от шумливой, верткой речонки тянет холодком и влагой. Небо поднялось бесконечно высоко, и городку легко, приятно и удобно. Дороги и тротуары безлюдны.

– Ге-ге! – несется с балкона звонкий голос. – Ге-ге! Эрих! Как поживаешь после вчерашнего казино?

– Не смейся, малыш: за ночь моя талия увеличилась на пять сантиметров...

– Ха-ха!

И вот с балкона на балкон из одного конца улицы в другой:

– Ге-ге, коллега! Что вы там ржете?

– С Эрихом хирургический случай: у него растяжение талин!

– Ха-ха!

– Корпорация Альфа против радикального вмешательства. Попробуйте бужирование.

– А что вы пропишете против легкой хрипоты?

В узких переулках от дома к дому:

– На главной улице ищут подержанные брюки: пояс – полтора сантиметра.

– Ха-ха!

За балконами, в невысоких комнатах с занавесочками и ковриками, старательные хозяйки начищают сапожным кремом башмаки своих жильцов. В университетских лабораториях и кабинетах сторожа неторопливо полощут пробирки, реторты и колбы. В просторном зале прибирают и устанавливают в штативах рапиры, сабли, шпаги и эспадроны.

– Ге-ге, Отто! Что ты скажешь о нашем Эрихе?..

К речонке, вниз по главной улице, все еще шествовали разряженные, кружевные, декольтированные гости. Но шума не было, и струйки табачного дыма на балконах тихо взбирались по гладким стенам.

– Как мирно, как бесконечно мирно, – проговорил Курт.

Он шел с непокрытой головой, медленно, любовно оглядывая каждый уголок, точно отыскивал что-то давно утраченное и родное. Андрей молчал.

Ни одна прогулка из тех, что совершили наши друзья за годы, которые предстояли им, не была столь добровольна и бесцельна, как путешествие в Эрланген. Вот почему мы не торопимся забегать вперед и радостно идем шаг за шагом по улице, в конец города, через мост, и дальше – в гору, покрытую частой рощею. Кто знает, может быть, эта прогулка – последний отдых, полней которого – одна смерть?

Гора, увязанная – как голова платком – липовой, березовой, кленовой чашей, кружилась в живой воронке звуков. Звуки толклись на месте, металась из стороны в сторону, извивались змеями вокруг деревьев, стлались под ногами. Здесь были все инструменты, придуманные Востоком и Западом, сделанные кустарем и фабрикой, автоматические, духовые, струнные и ударные. И они свистели, бубнили, гудели, трещали, пели, вопили все сразу и ни на минуту не переставая. Все оперетки и оперы, мазурки и вальсы, марши и галопы, сочиненные когда-нибудь на свете, не считая торжественных ораторий, печальных кантат, рапсодий, менуэтов, полонезов и песен, – все эти классы, виды и роды музыкальных сочинений, во всех тонах и всех темпах известных животному миру и органам фабрикам, – все они с величайшим старанием и неправдоподобным фортиссимо пыжились заявить о себе здесь, на этой горе, покрытой, как платком, липовой, кленовой чашей.

И гора кружилась, кружилась.

На вершине ее, в длину аллея, кучились балаганы, будки, лавчонки, карусели, паноптикумы, панорамы, кино, гипнотические кабинеты, перекидные качели, тирсы со стрельбою в цель, силомерные и спортивные залы, киоски с предсказателями судьбы и гроты с гадалышницами. Каждый человек на этом гулянье был вбит в толпу, как пыж в патрон, и непрекословно довольствовался тем, что мог вертеть головой во все стороны.

– Прекраснейшие дамы, почтеннейшие господа! Я призываю вас к нечеловеческому усилию: остановиться передо мною всего на две минуты. Усилие должно быть сделано, чтобы задержать натиск тех баранов, которые стремятся зажать ваши места. Вы не захотите уступить своего места баранам, почтенные господа! Одна минута внимания. Перед вами – подтяжки, скромный вид которых приводит в уныние простаков и деревенщину. Но мы знаем, что истинная добродетель всегда скромна. Смотрите, я тяну изо всех сил эти подтяжки, я рву их, я раздираю их зубами, как лев из гамбургского зоо, я вяжу из них узлы, я рублю их топором, вот – ак, аак, гак! – я подымаю на них гирю в двадцать пять кило! Смотрите – они становятся только эластичней, мягче и приятней, ничуть не изменяя своего цвета, своей прочности и привлекательности. Подождите, подождите! Я кладу их в воду, я намыливаю их, я тру их щеткой...

– Сюда, сюда, сударыня! Вот зонт, который призван защитить вашу бесподобную кожу от солнечного зноя. Попробуем полить его водой, попробуем вывернуть его наизнанку, попробуем сломать его ручку или проткнуть его пальцем – безуспешно! Из такого шелка Наполеон великий сшил платье своей второй жене – своей любимой жене, как это установила историческая наука. Если свернуть этот зонт умелой рукой, то он станет тонок, как швейная игла, сквозь ушко которой верблюд вошел в царство небесное. Если бы его увидела ваша бабушка, не верблюдица, конечно...

– О-ля, о-ля! Вот люди, которые рады развесить уши перед всяким болтуном! Слава богу, вы защищены от солнца деревьями. Зачем вам расходоваться на зонты? Зато эрлангенский магистрат свалил в ваш разинутый рот всю пыль со своих улиц, и вам не мешает пополоскаться настоящим лимонадом со льдом и чистым сахаром...

– Дорогие мои, во имя цивилизации и добрых отношений союзных немецких монархий – только полминуты внимания! Цепочка из золота, изобретенная профессором...

– Давно ли дамы стали носить панталоны на подтяжках? Довольно слушать этого подтяжечника, черт побери мой послеобеденный отдых...

– Начинается, начинается!

– Вы увидите человека, всю жизнь питавшегося старыми кожаными подметками. Вам продемонстрируют...

– Пятьсот марок тому, кто докажет, что он щупал своими руками лилипута меньше Понди-Ронди-Какса, ростом в девятнадцать сантиметров и весом...

Багроволицые, текущие потом и слюнями зазывалы пьют рюмку ликеру и опять вопят хрипучими глотками, накачивая жилы на лбах и шеях синей тяжелой кровью:

– Начинается!

– Начи-на-а-ается!

Крики попугаев, рев ученых ослов, граммофоны, органы, шарманки, оркестры, оркестрионы, рояли и одинокие пронзающие скрипки. А над всем этим – вой человеческих голосов, вой беспримерный, бесподобный, вой титанический. Потому что человеку нужно покрыть все звуки, весь гам, весь гром машин, инструментов, зверей и птиц. Потому что необходимо в этот прекрасный, единственный в году праздник – праздник престольный, летний, любовный – необходимо не только продать, не только показать товар лицом, но и посмеяться, и поострить, и объяснить в любви.

О да, объяснить в любви.

Для этого нужно орать над самым ухом возлюбленной, как на колокольне в трезвон.

Но разве подлинная страсть умещалась когда-нибудь в элегическом пиано?

Ах, страсть! Ах, юная, жестокая, стремительная страсть!

Сидеть в коляске, залитой позументами карусели, сидеть, прижавшись, впившись всем телом в кружевную, жаркую, пышногрудую, подкрашенную, чуть-чуть вспотевшую девушку, с которой встретился, столкнулся, сблизился минуту назад в толпе, где каждый человек как пыж в патроне, сидеть, – ах, ах, нет! – лететь, нестись, кружиться, точно в облаках. Вот темный полукруг – туннель, ни зги не видно – никто не видит, – секунда, еще, еще; вот день, слепящий, яркий; под ногами – люди глядят, показывают пальцами, смеются; вот снова тьма – нет никого, только она – какая? – неизведанная, закруженная каруселью, – секунда, еще, еще – свет, день, люди; и опять в туннель!

Придумало ли человечество другую машину, которая перерабатывала бы сердца, души, взгляды, объятия, поцелуи – все это любовное сырье в такой кристальный и конденсированный фабрикат счастья, какой выделяет карусель, эта волшебная центрифуга амура?

Все эти перекидные качели, все эти прыгающие лестницы, и бесконечно бегущие дорожки, и американские горы – все они не вырабатывают и малодобротного суррогата счастья, производство которого составляет непохитимый патент карусели. Подлинное счастье, единственная на земле блаженная нирвана, настоящая вихревая страсть (остерегайтесь подделок!) – монополия карусели.

Радуйся, позументная, многоцветная, мишурная, разноогненная, сочетавшая конный бег с плавным качанием лодок, навсегда покоренная голосами шарманки, в вечном кружении – радуйся!

Когда, собственно, началась мировая война

Колыхаясь, покачиваясь, носимые от балагана к качелям, от качелей к будкам, Курт и Андрей отделились толпе, ее беспечности, ее капризам. Как прирожденные ротозеи, они не сказали бы, сколько часов отняли у них зазывалы, торговцы, шуты и господа в помятых фраках, величавшие себя профессорами неврологии и психиатрии и собственноручно вытаскивавшие на подмостки балаганов раскрашенных спящих сомнамбулов.

Когда течение вынесло друзей на пространство, где можно было произвольно двигаться и дышать, они осмотрели друг друга и рассмеялись. Вспотевшие и измятые, они были похожи на людей, попавших под проливной дождь. Курт восхищенно вскричал:

– Смотри, Андрей! Эти усатые, а то и седые люди, эти отцы, матери, может быть, деды и бабки – все это дети, которым игрушка дороже всего. Такой праздник... такая наивная веселость...

– Подожди, – остановил его Андрей, – что это? Что это, Курт?

– Тир.

Андрей метнулся вперед, потом схватил Курта за руку, прижался всем телом к нему, словно ища прикрытия и защиты.

– Что с тобой, что ты?

Перед невысоким балаганом стоял густой мерный гогот. Плотная кучка мужчин то отступала от барьера палатки, то наваливалась на него. На расстоянии восьми-девяти шагов от барьера, насаженные на железные прутья, торчали всклокоченные, избитые человеческие головы. Над каждой из них были нацеплены дощечки с именами преступников, головы которых покарало когда-то правосудие, а теперь превратила в чучела гневная рука балаганщика.

Игра была очень несложной. Надо было попасть в голову большим тряпичным мячом. Мяч запрокидывал голову назад. Она падала и скрывалась за полотняной стойкой. Худенький, бледнолицый мальчуган, бегавший позади стойки, тотчас устанавливал мишень и кидал мяч к ногам своего хозяина, собиравшего у барьера штрафную лепту за каждый промах.

Работа шла без перерывов: мячи летали от барьера за линию мишеней и обратно; хозяин менял марки, подавал мячи участникам состязания, покрикивал на мальчугана и посасывал из кружки пиво; публика погогатывала, поощряла и насмехалась, отступала, когда спортсмен замахивался, и наваливалась, когда он бросал мяч в цель.

Голова, торчавшая в центре мишеней, – со стежками небрежного шва на низком лбу, с выпяченными карими глазами на густо-синем лице, покрытом короткими бритыми ростками волос, – эта голова привлекала особую симпатию публики, и в нее летели мяч за мячом. А она, запрокинувшись, скрывшись, снова и снова подымалась на упругом железном пруту и тупо вперяла свой карий безумный взор в гогочущую потную толпу.

К голове обращались ласково, фамильярно, панибратски:

– Карлочка, Карлуша, Карлик.

И над ней висела доска:

ЗВЕРСКИЙ УБИЙЦА, СТРАШНЫЙ БАНДИТ, ДНЕВНОЙ
ГРАБИТЕЛЬ ИЗНАМЕНИТЫЙ ИСТЯЗАТЕЛЬ ЖЕНЩИНКАРЛ
ЭБЕРСОКС.

НЕГОДЯЮ ОТТЯПАЛИ БАШКУ
В НЮРНБЕРГЕ

– Что это? – опять вскрикнул Андрей.

– А это спорт, – спокойно раздалось над его ухом.

Он не сразу понял, кто произнес эти слова, и не сразу догадался, что они были сказаны по-русски. Значит, у него вырвались тоже русские слова?

– Познакомимся. Я здешний студент, моя фамилия... Впрочем, это не важно. Вы и ваш приятель приглянулись мне: я давно наблюдаю, как вы зеваете на это столпотворение.

Прищуренные, немного усталые глаза смотрят насмешливо и покойно, рот подергивается как будто неуверенной улыбкой.

Студент пожимает руки Андрею и Курту.

– Вы немец? – живо обращается он к Курту. – Прекрасно, будем болтать по-немецки. Вашего друга настолько ошарашило развлечение у этого балагана, что он даже побледнел.

Андрей старается заглянуть в глаза Курту и говорит:

– Во всяком случае, дети так не развлекаются.

Курт пожимает Андрея за локоть, точно успокаивая его, и приглядывается к новому спутнику.

Тот говорит, мало заботясь о том, слышен ли его голос:

– Спорт, как известно, – физическое воспитание. Но сколько мудрости проявил балаганщик, соединив полезное с возвышенным! Восхитительно! Таким способом вы не только разминаете мускулатуру застоявшемуся ландшафту, но и оттачиваете его моральное чувство, укрепляете правосознание и прочее. А чтобы все это не было до смерти скучно, пилюлю золотят пикантнейшим намеком: истязатель женщин, да еще не просто, а – знаменитый! Вот она – змеиная мудрость! Какой простор воображению приказчика от Тица! Ни одна японская картинка не раззадорит так его фантазии, как эта коротенькая строчка: знаменитый истязатель женщин! Главное – вся эта история проникнута патриотической идеей, идеей воспитания граждан в духе государственности.

– В самом деле отвратительно! – поежился Андрей.

– Ха-ха, если бы я не был в хорошем расположении духа, – засмеялся Курт, – я отдул бы вас, коллега.

– За что?

– За обобщения. Шарлатан устроил приманку для дурковатых людей, а вы несете что-то о государственности.

Студент прищурился, пожал плечами. По его лицу все время блуждала улыбка, но выражение ее оставалось неуловимым. Он точно посмеивался над своей речью и решал про себя – верят ему или нет.

– У вас славный вид. Вы, наверно, студент, может быть, художник? Словом, с вас нечего спрашивать. Я хочу сказать, что вы – мечтательные люди. А я человек трезвый, хотя не прочь выпить. Пойдемте туда, в гору, в ресторан. Да отрешитесь наконец от привычки ходить по дорожкам. Рошей и ближе, и свободней... Я был, друзья мои, в пяти университетах, причем из четырех меня выгнали. Дело, впрочем, не в университетах, а в том, что я в короткое время пожил в четырех странах и приучился плевать на все. Так что меня трудно поймать на пристрастии. Я скотина международная. И если у вас чешутся руки, я готов продолжать свои обобщения, чтобы быть битым по совокупности. Согласны?

На траве привалились усталые люди, без пиджаков, без шляп, под прикрытием брошенных на землю растопыренных зонтов. Друзья миновали рошу и снова очутились в праздничной толпе гуляк.

Здесь, на широкой площадке, раскинулся ресторан. Ряды длинных столов и скамей тянулись во всю длину площадки и ровными ступенями восходили к шатру, атакованному накрахмаленной кавалькадой кельнерш. Скамьи были залеплены гостями, как сучья одинокого дерева налетевшей стаей грачей. Столы сплошь уставлены глиняными пивными кружками. Дебелые кельнерши, подняв над головами нанизанные на пальцы кружки, протискивались к шатру, укрывавшему бочки с пенистой влагой. Продавщицы цветов и серпантина перегибались через

спины гостей и заглядывали в их лица с такой улыбкой, точно все эти люди были их любимицами. Над головами, зацепившись за ветви деревьев, спутавшись, завившись, висели разноцветные ленты серпантина, колеблемые, разрываемые ударами новых и новых бумажных змеек. Здесь царил смех.

Друзья уселись за стол на верху площадки. Их спутник оказался между ними и оборачивался поочередно то к одному, то к другому, стараясь, чтобы его слышали:

– Вот вам азбука биологии: если какой-нибудь орган продолжительное время не упражнять, то он утрачивает способность отправлять свои функции. По-моему, напрасно ругают органическую теорию. Законы биологии охватывают, в сущности, всю психическую жизнь народов. Кровную месть европейцы подменили дуэлью, а дуэль вылилась в мензурку: поцарапал щеку противника рапирой и доволен. А то еще лучше: вам дали пощечину, судья оштрафовал обидчика – и оскорбление смыто, вы спокойны. Это оттого, что мы из поколения в поколение не упражняли чувства мести. Постепенно оно атрофировалось.

– В чем вы хотите убедить нас? – спросил Андрей.

Студент отпил из кружки пива, и вдруг лицо его осунулось, потемнело, состарилось, улыбка скрылась, и он устало произнес:

– Ни в чем. Меня развеселила наивность, с какой вы зевали на балаганы. И потом – ваш испуг около тира. Мне захотелось поболтать. Больше ничего.

Он пристально всмотрелся в Андрея.

– Особенно с вами, с русским. Я ставлю вопросы – только. Вам не приходил на ум Рим, когда вы впервые увидели Германию? Вы понимаете? Такой расцвет, такая пышность, такой достаток, такое довольство. Нестерпимо. Я чувствую, что под почвой всей страны, под сознанием всего народа лежат целые пласты напряженного нетерпения. Все кругом так насыщено, налито, наполнено, что нужна, необходима, неизбежна разрядка. Во всем кругом себя я слышу дыхание какой-то страшной потенции. И я вижу, как эта потенция растет, как она непрестанно питается извне, словно аккумулятор, заряжаемый электричеством. Вы запомнили лица спортсменов? Вам стало страшно? А вы подумали, какая сила стоит за этим развлечением? Ее упражняют таким невинным способом, чтобы потом направить куда надо. Вы понимаете, куда она будет направлена? Понимаете? Вы ощущаете, как эта сила колеблет под вами землю? Вы чувствуете, какое это будет извержение?

– О чем вы? – внезапно вскрикнул Андрей.

Студент схватил его руку.

– Извержение, – глухо повторил он, – чувствуете? – И он качнул головой вниз, на столы, облепленные гуляками, как сучья грачами.

– Посмотрите!

Одним рядом ниже стола, за которым они сидели, на скамью взгромоздился студент. Расцветившая корпорантская фуражечка бекренилась на его гладком розоватом затылке. Он был без пиджака, с засученными рукавами рубахи. Позади него стояла девица с корзинкой серпантина. Он брал из корзинки кружочек серпантина, наматывал на палец конец ленты, долго примеривался и целился, потом пускал кружочек по направлению к нижнему столу. По пути лента запутывалась в узлах свисавшего с деревьев серпантина, или налетала на встречную ленту и переплеталась с ней, или застревала тут же, в ветвях липы, не успев развернуться. Студент, не глядя, опускал руку в подставленную корзинку, брал новый кружочек и ловчился миновать сложную сеть препятствий новым броском. Он входил во вкус и распалялся с каждой неудачей. Ему удалось наконец зацепить своей лентой пышный навес серпантина, отделявший его от цели. Он стянул его вниз на головы гостей под общий хохот. Поле битвы оставалось за ним. Он расставил пошире ноги, взял целую связку серпантина и открыл оживленный огонь.

Его мишенью была девушка. Она сидела с дамой, пожилой и почтенной, державшей себя, как мать или тетка. Первая лента, достигшая цели, упала девушке на плечо. Она неторопливо

скинула серпантин на землю. Мало ли здесь было серпантина! Он сыпался сверху дождем и шуршал под ногами, как стружки в мастерской столяра. Вторая лента ударила ее своим клубочком по руке. Она отшвырнула клубочек с нетерпением. Третья опустилась плавно на стол, перед лицом дамы. Девушка предупредительно убрала ленту в сторону и, болтая о чем-то, произвольно намотала ее на палец.

Тогда студент натянул ленту и подергал ее с большой осторожностью. Девушка подняла голову, взгляд ее пробежал вверх по воздушному проводу и натолкнулся на расплывшееся в улыбке, блиставшее потом лицо студента. Она усмехнулась и коротким движением руки разорвала провод.

Курт и Андрей смеялись. Лицо их спутника опять помолодело и заиграло неуверенной улыбкой.

– Вы знаете, – сказал он, – что этот праздник студенты зовут гинекологическим сезоном? Нет? Это поучительная история. Один здешний профессор, приступая к своему курсу, заявил: «Очень жаль, что мы начинаем работу в зимнем семестре и на первых порах будем лишены тех благодетельных материалов, благодаря которым эмбриологическое отделение нашего музея приобрело всемирную репутацию; через два-три месяца после Эрлангенской ярмарки таких материалов более чем достаточно». Вы удивлены? Вам это непонятно? Профессор знал, что говорил. Раз в год в этот вечно голодный городишко наезжают фаланги женщин. Их ждут здесь студенты и солдаты. Вы думаете, они ждут женщин напрасно? Через два месяца какой-то процент всех этих голубоглазых невест, жен, кузин и сестер вновь прибудет в гостеприимный Эрланген, чтобы возлечь на постелях университетских клиник.

– Вы преувеличиваете, и вы мрачны, коллега, – сказал Курт.

– Преувеличиваю? Мрачен? О вы, романтики! Хотите держать пари, что вот этот бурш добьется своего не позже сегодняшнего вечера? Смотрите, смотрите!

Около студента, стоявшего на скамье, толпились продавщицы цветов. Между ним и девушкой за нижним столом была протянута новая лепта серпантина. Студент прикладывал губами к концу лепты, зажатому в кулак, и всем своим грузным телом выражал неудержимый порыв к девушке. Он выбирал цветок из подсунутого ему лукошка, запечатлевал на нем поцелуй и отправлял с цветочницей своей даме. Потом подымал над головой пивную кружку и опоражнивал ее в несколько глотков. Девушка принимала цветы, подносила их к лицу и неприметно бросала лукавые взгляды на студента. Тот мгновенно перехватывал их и выражал свой восторг мимикой и жестами, которые сместили ее.

– Весело, честное слово, весело! – засмеялся Курт.

– Посмотрите на его фигуру, – закричал студент, – ведь он страшен! Попробуйте помешать ему, отвлеките его на одну минуту, ведь он обрушится на вас с остервенением скотобойца, он изомнет вас! И испытает при этом величайшее наслаждение, потому что через край переполнен величайшим нетерпением.

– Вы говорите об этом бурше?

– Я говорю обо всех.

– Вы с ума сошли!

– Ха-ха! Вы художники? Я так и знал! Вы присаживаетесь тут и там на своих холщовых стульчиках, и вам ни разу не пришло в голову, что вы сидите на вулкане. Ха-ха! В одно прелестное однажды вас разорвет вместе с этюдниками, зонтами и стульчиками, как бутылку содовой на солнышке. Орава вот таких буршей растопчет ваше благодущие своими каблуками.

– Маньяк, – произнес Курт, отодвигаясь от студента.

– Погодите, – сказал тот, перекидывая ноги через скамейку, – мне надо повидать одного идиота. Я сейчас вернусь и доскажу вам свою мысль.

– Не трудитесь, – ответил Курт.

– Мне хочется вдолбить вам – но вам, не вам, коллега, а вот своему прекрасному земляку, что... я скажу потом – что...

Он закружился и исчез в полупьяной шумной людской толчее.

– Уйдем, – сказал Андрей, и в его взгляде, остановившемся на лице друга, скользнула забота.

Когда они спустились к балаганам и все кругом них понеслось в органном торканье, Курт проговорил:

– Он, конечно, болен, этот парень.

И, немного погодя, с неживой улыбкой:

– Повеселимся без него, а?..

Ночью, на вокзале, в давке и спорах лезших в вагоны людей, истомленных солнцем, каруселями, спиритиузами и толпой, Курт снова впал в любовное созерцание, возбужденный взглядами, смехом, песнями и ночью.

– Мы все равно не попадем в поезд, Андрей. Давай закончим этот праздник по старому обычаю: отыщем гостиницу, переночуем, а завтра на рассвете – домой пешком, в наш удивительный, наш прекрасный...

Курт не договорил. Взор его упал на пирамидальное деревцо, торчавшее у стола в конце зала.

– А тот парень, – пробурчал он, – тот, что пристал к нам сегодня, кое в чем прав, черт возьми!

За пирамидальным деревцом на столе стоял ярко-желтый ручной чемодан. Позади чемодана, на кожаном диване, развалился студент, обняв и привалив к себе молодую девушку. Несколько часов назад там, на горе, в балаганном ресторане, их соединяла только лента серпантина. Теперь в глазах у них блуждали ленивые огни. Студент помахивал в воздухе рукой, даже не рукой, даже не кистью руки, а одними пальцами, сложенными туго и прямо. Жест этот – снисходительно-ласковый и небрежный – относился к пожилой и почтенной даме – матери или тетке девушки. Дама стояла поодаль, собираясь уйти, и трясла головой, – не понять было: с укором, сожалением или поощряя. Шляпка ее сползла набок, и пряди волос, выпавшие из-под шляпки, были мокры. Студент бормотал миротворно:

– Adieu, Frau Mama, adieu!³

Андрей и Курт выбрались на улицу.

По площади шествовала гурьба горланов, человек в семь, взявшись за руки, образовав крепкую цепь, колыхавшуюся вправо и влево. Высокими голосами, в унисон, они пели:

Die Männer sind alle Verbrecher, Ihr Herz ist ein finstores
Loch; Die Frauen sind auch nicht viel besser, Aber lieb, aber lieb sind
sie doch!⁴

³ Прощайте, мамаша, прощайте! (нем.)

⁴ Мужчины все злодеи, сердца их – темная бездна; женщины тоже не многим лучше, но они нам милы, нам милы! (нем.)

Dichtung und wahrheit⁵

– Без малейшего усилия ты переносишься на сотни лет назад. Ты уж не живешь в цивилизации. Воображение с легкостью восстанавливает мельчайшие черты прошлого. Ты только не противись ему, не ставишь препон, не тащишь его насильно вниз, в сегодняшний вечер... И, смотри, ты уже какой-то подмастерье, ты спешишь до темноты достичь города, ты знаешь, видишь, чувствуешь его. О нем ходит молва по постоялым дворам и гостиницам, о нем рассказывают что-то шепотом, о нем поют песни. Это – прекрасный старый город, с добрыми мастерами всех благородных цехов, с удивительной киркой святого Лаврентия, которая под стать самому Страсбургскому собору, с чудесными фонтанами, превосходным базаром и отменными жареными сосисками. Ты с каждым шагом ближе к цели, и с каждым шагом уменьшается твоя усталость. Ты взбираешься на холм – и перед тобой, в кольце высокой стены, в башнях, деревьях, цветах, раскинулся город. Ты видишь ворота, ты непременно хочешь вступить в них, прежде чем солнце упадет за горизонт. Ты бежишь. Но в вечерней тишине вдруг повисает волнующий унылый свист. Навстречу тебе идет высокий, худой человек. Его волосы растрепались, глаза полуоткрыты. Он насвистывает на пастушьей дудке однотонную мелодийку и ступает легко, почти скользит по дороге, как лунатик. Что это, что это, Андрей? За ним изгибается пласт дороги, подобно гребню волны, которая не может достичь берега. Он сер, этот пласт, он кишит какими-то существами. Андрей, это крысы, крысы! Они стелются по дороге сплошной лавиной, взбираются одна на другую, с остановившимися черными бусинками глаз, с оскаленными мордами. Стой, стой, не двигайся! Они обойдут тебя, они ничего не замечают, ничего не видят, они хотят только одного: слышать унылый свист человека, который вызвал их из нор и амбарных подпольев на улицу и увел за собой в поле. Торопись: за крысиным полчищем затворяют городские ворота. Солнце село. Тебе прохладно, усталость спала. Тыходишь в город...

– Тыходишь в город, – подхватывает Андрей, – и тебя сразу окружают взволнованные лица мастеровых, служанок, детворы – те самые горожане, что так зычно хохочут на состязании певцов и так горько рыдают при виде страстей господина нашего Иисуса в мистерии на базарной площади. Они перепуганы, они пожирают тебя глазами, они непременно хотят знать, не слышал ли ты о том странном юноше, который появился у них в городе сегодня на рассвете. Ведь ты нездешний? И ты, наверно, идешь издалека, много видел и много знаешь. Так вот, сегодня утром на улицах появился никому не известный мальчик. Он бледен, как бумага, кожа его прозрачна, он худ и настолько слаб, что не может сделать и пяти шагов. У него прекрасные синие глаза, очень длинные волосы, вероятно никогда не стриженные и мягкие, как пух. Судя по росту, ему может быть лет пятнадцать, но он беспомощен, как младенец. От его взгляда становится страшно – такой это чистый, невинный взгляд. Наверно, так смотрят великомученики и ангелы. Но что самое страшное, так это то, что он не знает ни одного слова, будто только что родился. Ну, вот ты пришел из другого города, из Галле, из Франкфурта, а то, может быть, с самого Рейна. Не слышал ли ты где-нибудь об этом юноше? Правда ли, что какой-то злодей держал его в темной камерке и со дня рождения он не видал ни одного человеческого лица и не слышал человеческого голоса?

– И ты уже тоже перепугался, – говорит Курт, обнимая Андрея за плечи, – ты сам встревожен, как эти добряки; удары твоего сердца совпали с ударами сердца города, ты вовлечен в его жизнь и живешь ею так, точно родился и вырос здесь...

Друзья идут быстро, нога в ногу, прямой, плотно уложенной камнями дорогой. По сторонам тянутся ряды короткостволых яблонь с пышными кронами, в желтеющих шарах полужрелых плодов. Ноги покрыты седоватой мелкой пылью, но поступь все еще легка и бодр. Впе-

⁵ «Поэзия и правда» – название автобиографической эпопеи Гёте.

реди, за отлогим холмом, где-то в небе висит дымчатый нетяжелый покров. Там – город. Друзья смотрят туда, вперед, в небо, приподняв непокрытые, встрепанные головы.

– Ты дышишь грудью этого города. Он окутывает тебя своим существом, как сон. Все, что совершается здесь, совершается в тебе. Ты живешь от чуда к чуду... Мальчуган, играя возле кирки святого Лаврентия, сказал: «Черт меня побери!» Черт тут как тут: мгновение – и мальчуган барахтается у него под мышкой, и мальчуган под землей, и в земле только одна дырка. Разве тебе безразлично, какие рога были у черта, и какой у него хвост, и как он пахнет? А разве ты не побежишь в бург, чтобы своими глазами увидеть на стене следы копыт того коня, который унес на себе разбойника, перескочив крепостной ров?..

Друзья остановились. Прямо под их ногами ровно уплывала дорога к пятнам ярких квадратов полей. Новый город мутным кругом опоясывал старый. Пять башен, широких и грузных, озирали окрестность. На скученных темных домах, сросшихся в нерушимую каменную грудь, короной веков лежал розовый бург.

– Нюрнберг! – вырвалось у Курта.

– Нюрнберг! – повторил Андрей.

Они стояли неподвижно, устремившись всем телом вперед, как путники пустыни перед нечаянным колодезем. Потом Курт схватил Андрея за руки, притянул его к себе порывистым, торопливым движением, заглянул ему в глаза – точно хотел перелить в Андрея весь восторг, и они поцеловались.

– Навсегда! – проговорил Андрей.

– Навсегда!

Взявшись за руки, они вдруг разразились долгим бессловесным криком и побежали вниз, в город.

Был вечер.

Спускаясь по лестнице со своих мансард, Курт встретил офицера. Офицер был молод, подвижен, и в выправке его сквозила непринужденность. Он взял под козырек:

– Не можете ли сказать, где живет господин художник Ван?

– Чем могу служить?

Офицер поднялся ступенькой выше, стал лицом к лицу с Куртом, улыбнулся, почти воскликнул:

– Ах, так это вы сами! Я узнал вас по автопортрету – помните, такой маленький карандашный рисунок?

– Вы... вы... – пробормотал Курт и вдруг повернулся, чтобы идти вниз по лестнице. Но тут же раздумал и перескочил через две ступени наверх. Потом снова метнулся вниз, глянул на офицера, пожал его протянутую руку и четко, по-солдатски, ответил:

– Очень рад, господин лейтенант.

– Вы, по-видимому, торопитесь? Прошу вас звать меня просто фон Шенау. Может быть, всего несколько минут... Я не задержу вас. И пожалуйста – просто фон Шенау.

– Очень рад, – повторил Курт и повел рукой вверх.

– Я разыскал вас без особого труда, – говорил офицер, подымаясь по лестнице, – хотя мой агент, с которым вы до сих пор имели дело, уверял, что вашу мастерскую найти вообще невозможно. Ха-ха! Я боюсь, что этот добряк непременно хочет сохранить перегородку между мной и вами. Кстати, скажите, какую сумму вы получили от него последний раз в виде аванса?

– Пятьсот марок.

– Скажите! Это делает ему честь, ха-ха!

Курт открыл дверь и пропустил офицера вперед.

– Это и есть ваша мастерская? Скажите! Вот как скромны истинно великие люди.

– Я очень благодарен, господин фон Шенау, но...

– Право, я шучу. Мне хотелось бы с вами сойтись. Добряк, с которым вы имели дело, рассказал вам, вероятно, как я ценю ваш талант. Мне хотелось бы попроще, без церемоний. Я страшно рад, что застал вас. Я ведь вообще люблю художников. По контрасту: у нас все так сложно – представительство, этикет, а вы – просто. Скажите, это ваше новое полотно? Поверните, поверните, вот... вот так. Это в счет аванса, что? Ха-ха!

– Простите, господин фон Шенау, но я уже обещал эту картину другому лицу... собственному магистрату Нюрнберга...

Офицер сел в кресло и наклонился вперед, опершись локтем на коленку. Лицо его сузилось, широкий лоб с красной полоской от фуражки вырос, рот ясно и резко очертился. Он смотрел на картину.

– Что вы там сказали? – промычал он.

Потом оторвался от полотна:

– Мне послышалось, что вы сказали какой-то вздор, господин Ван?

Курт шагнул к гостю, и голос его стал грузным.

– Я собирался отблагодарить вас, господин фон Шенау... Я хотел также возвратить аванс...

Офицер быстро встал, выбросил вперед руку, коротко, как гимнаст:

– Давайте!

– К сожалению, в данный момент... я...

– Вы несете чепуху, дорогой Ван. Я даю вам возможность работать. Я не тороплю вас. Можете писать по одной картине в три года. Пожалуйста. Я обеспечиваю вас. Я не ставлю вам никаких условий, кроме одного: из этой мастерской картины знают только одну дорогу – в мое собрание.

– Позор!

У офицера ясно и резко очерчен рот, и слова его, как рот, ясны и резки:

– Господни художник понимает, что с ним говорит офицер. Офицер предлагает, художник соглашается или отказывается. Вы отказываетесь?

– Боже мой! Ведь вы лишаете меня главного, вы берете у меня...

– Я делаю вам честь. Вы знакомы с каталогом моего собрания? Ван-Дейк и Рубенс, французы, кончая Сезанном, немцы до Клингера. Я отвел вам целую стену.

– Меня никто не знает. Я работаю... я работаю...

Курт хватается за спинку дивана, толкает ногами подрамники, произносит надорванно, точно умирая от жажды:

– Работаю на вас!

– Скажите! Ван, Ван, вы безумны, как гений. Вы хотите пробивать свою дорогу шаг за шагом, а я обещаю вам развернуть ваше будущее одним движеньем. Вас никто не знает? А я сделаю так, что вас узнает весь мир. Я сделаю это.

Курт падает на диван.

– Но это полотно... именно это. Прошу вас. Я хотел видеть его в магистрате. Дворик Немецкого музея – это наше, нюрнбергское, близкое нам...

– Ван, бросьте говорить вздор! Мне было бы неприятно оставлять вас в дурном расположении духа. К тому же...

Лоб офицера опять растет, красная полоса от фуражки бледнеет, исчезает. Офицер смотрит на картину.

– Хорошо. Очень. Какое счастье наблюдать за вашим ростом. Знаете...

Офицер встает, подходит к Курту, берет его за плечи, всматривается в его лицо – как в лицо солдата – поощряюще.

– Знаете, вы лучший из художников вашего поколения. Ведь вы ненамного старше меня, да?

Потом он снова оглядывает комнату, вынимает из кармана визитную карточку, пишет на ней несколько слов, по-прежнему молодо говорит:

– Я здесь проездом. Страшно рад, что застал вас. Вот, возьмите, может пригодиться. И до свидания. Я непременно приглашу вас к себе, в Шенау. Вы увидите, какую я отвел вам стену. Непременно. До свидания.

Офицер пожимает руку, бодро и радостно шуршит униформой, шумно затворяет за собой тонкую стеклянную дверь.

Курт сидит неподвижно.

Снизу, с улицы, подымается вечерний говорок возвращающихся с фабрики рабочих. Слышно, как шуршат по мостовой велосипедные шины. В углы комнаты забиваются сумерки. Полотно на мольберте отсвечивает красным.

Курт ощущает в своей руке карточку. Подносит ее к глазам.

Карандашом:

*Выдайте 200 в счет платы
за «Дворик Немецкого музея»*

Печатной краской:

*Лейтенант фон цур Мюлен-Шенау
(маркграф)*

Тогда Курт вскакивает с дивана, рвет визитную карточку, подбегает к окну и грозит кулаком вниз на улицу.

С тяжелым дыханьем выползает и пенится шипучее слово:

– Не-нави-иж-жу!

Розенау лежит в низине, и в Розенау есть пруд. От его сырости, от сочной травы газонов и густых крон ветел в Розенау прохладно.

И когда наступали сумерки и город закупоривала духота, люди стекались к Розенау.

Потому что этим летом над Баварией ходили грозы.

Они собирались к ночи и рушились иступленно на города, дороги и поля. С рассветом небо очищалось; дни стояли знойные, тугие; по вечерам приплывали тучи и ночью, разодранные грозой, валились на землю...

Человек внес свои поправки в безумства природы. Поставил громоотвод, провел канализацию, придумал зонтик.

О, этот гордый человек!

Когда первая капля дождя холодным предвестником падет на землю, он пощупает лысину ладонью, раскроет зонтик, и по его липу не скользнет и отблеска смятенья: под зонтиком ступает все тот же царь природы.

Никакого смятенья вообще. Ни озабоченности, ни поспешности, ни суеты. Жизнь – это гармония. И родина гармонии – родина Баха, Мендельсона, Листа, Гайдна.

На каждом шагу встречаешь человека, неспособного отличить с-dur от a-moll. Но всякий знает, что Гайдна и Мендельсона дала Германия. И каждый, точно правоверный эллин, верит, что семь тонов музыкальной гаммы ответственны семи спектральным краскам.

Жизнь – это гармония, в которой каждая сигара – известная тональность.

Оранжевая черепица крыш, кнопка воздушного звонка, кожаная манжета колбасницы, головной гребень кельнерши – известный, только пм присущий, только им преподанный, приятный тембр.

Стукните ножом по кофейной чашке берлинского локаля. Чашка издаст тот самый тон, в каком звучит кофейная чашка любого локаля Ганновера – или Дрездена, Штеттина, Любека.

Подмените чернильницу штадтрата Герлица чернильницей штадтрата Баутцена. Почтенным бюргерам и в голову не придет, что они обмакивают свои перья в чужие чернильницы.

Как Баутцен, как Герлиц? А сорок километров, разделяющих эти соседние города?
О, хотя б четыреста, пятьсот и даже тысяча!

Ведь это же чернильницы штадтратов. А не профессоров, не патеров, не офицеров.
Жизнь – это гармония.

И жить – значит не нарушать гармонии. В каждом возрасте и в каждый час, во всяком звании и чине, в любой общественной среде – звучать присущим и преподанным, приятным тоном...

Так, этим летом, когда над Баварией ходили грозы и в сумерки закупоривала город духота, по вечерам отправлялись в Розенау, в прохладу пруда.

Мужчины снимали с себя пиджаки, привешивали на жилетную пуговицу панамы и шляпы (за особый держатель – бесплатная премия Тица), брали зонтики и шли.

И с первым шагом их, как только заносили ноги, сняв пиджаки, привесив к пуговицам шляпы, все совершалось в ритме и размере, полоненном гармонией.

Вот так: мужчины.

За ними – дружно: жены, дочери, тещи. Все в белых блузках, с ридикюлями, с зонтами.

А спереди – сынки: без шляп, в рубашках «Робеспьер», заправленных в короткие штанишки. Ну, эти без зонтов. При первом же раскате грома – бегом, марш-марш домой. А «Робеспьеры» высохнут и выгладятся завтра...

За столиком сидели прочно, долго. Неколебимо слушали оркестр. Подтягивали Штраусу, умилялись:

– Хороший композитор, *prosit!*

Фельдфебель-дирижер руководил отчетливо, как на параде. Обертывался на аплодисменты – раз, два, три. И кланялся, насколько позволяли воинский устав и воротник.

Флейтист вставал, менял дощечку-номер – «4».

Тут каждая семья – в последовательности патриархальной – смотрела на программу:

– Четыре? Шуман, попури из песен.

– Ах, Шуман!

– Да, из песен...

– Прекрасный музыкант, хотя – австриец? *Prosit!*

Все в этом ритме и размере.

Но ночью, перед тем как нависнуть над городом и пролиться грозовой туче, привычный и удобный ритм был сломан.

В тембры присущие, преподанные и неизменно приятные, после прохлады Розенау, после Штрауса и Шумана, врезались слова, разорвавшие гармонию, как гроза – духоту.

Люди кучились по перекресткам, захлестнутые ливнем, точно птицы, подбитые ветром, точно овцы, оглушенные громом.

Открывали и закрывали зонты. Расстегивали и застегивали воротники. Снимали и надевали шляпы.

Но не двигались: ждали молнии.

И когда она шмыгала воровато над крышами, люди впивались глазами в лоскутки телеграмм, расклеенные на стенах, чтобы еще и еще раз ослепнуть от слова:

Эригерцог!

Потом срывались с места, захлестнутые, подбитые, оглушенные грозой и ливнем, и опять примыкали к жавшейся на перекрестке толпе, и опять ослеплялись словом:

Эригерцог!

И опять не двигались: ждали молнии.

Так каждый: в каждом возрасте, во всяком звании, из всякой общественной среды.

Потому что с этой ночи, ослепившей словом:

Эригерцог!

старой гармонии не стало, и – смятенные – люди кинулись искать новую.

Мокрый до последней нитки, Андрей пробирался знакомыми окраинами к дому, где жил Курт. Под взрывами ветра умирали и воскресали газовые фонари. Андрей зажег спичку, отыскал кнопку звонка. Минуты через три сверху соскользнул на улицу слабый голос:

– Это вы, герр Ван?

Андрей отбежал от двери на середину мостовой.

– Простите за беспокойство, фрау Майер. Разве Курта нет дома?

– Ах, герр Старцов! Добрый вечер. Мы думали, что герр Ван с вами. Он ушел уже давно.

У него был какой-то офицер.

– Офицер?

– Молодой офицер.

– И Курт ушел с ним?

– Нет. Офицер ушел раньше.

– А где же Курт?

– Право, вы меня пугаете, герр Старцов. Откуда мне знать, где он пропадает. Он так стукнул дверь, когда уходил, что у меня на кухне запрыгала посуда.

– Простите за беспокойство, фрау Майер. Покойной ночи!

– Доброй ночи, герр Старцов!

Белое пятно на мансарде исчезло, окно закрылось. Андрей постоял несколько мгновений неподвижно. Потом произнес негромко:

– Офицер.

Потом медленно пошел назад, по окраинам, которые привели его к жилищу Курта.

Дома он разделся, растер себе грудь, спину, живот, ноги сухим полотенцем, переменял белье, открыл окна, закутался и уснул сразу, точно сорвался в какой-то провал.

В этом провале он отчетливо увидел:

В беспредельном, может быть снежном, просторе висит человеческая голова. Кругом все тихо и недвижно. Вдруг из пустоты возникает студент в корпорантской фуражечке на гладком розоватом затылке. Карие глаза головы открыты, зрачки устремлены на студента.

– Adieu, Frau Mama! – говорит голова и подмигивает студенту. Тогда студент отбегает назад, расставляет пошире ноги и заносит руку. Откуда у него тряпичные мячи? Первый удар мимо. Второй тоже. Мячи несутся на полсантиметра справа и слева от головы. Голова переводит взор на Андрея и открывает синие губы, чтобы что-то сказать. Но на мгновение ее заслоняет собою мяч, и она покачивается и трясется, точно в раздумье, потом вдруг опрокидывается на затылок и летит куда-то вниз. И в тот же миг исчезает снежная беспредельность, и перед Андреем вырастает грандиозная каменная лестница, и голова скатывается по ней с хро-

нометрической размеренностью, гулко ударяясь о каждую ступень поочередно, то лицом, то затылком:

бумм – боммбумм – бомм...

Но взгляд ее неотрывно упирается в глаза Андрея, хотя должны же, должны быть моменты, когда Андрей не может видеть этого взгляда, не может!

бумм – боммбумм – бомм...

Андрей вскочил с постели. Весь он покрылся потом, и рот его был связан какой-то соленой сухостью. Он сжал голову руками. Прислушался. Звонкие удары гулко раздавались на улице. Андрей бросился к окну, приподнял занавеску.

В свежем послегрозовом рассвете по мостовой цокали бесчисленные подковы. В воздухе, на остриях кавалерийских пик, развевались двухцветные флажки. Выложенные темно-зеленые униформы, набитые хорошими широкогрудыми телами, чопорились и подпрыгивали в седлах. По чернолаковым квадратам, завершавшим каски, бегали неуверенные тени утреннего неба.

Впереди кавалерии, на вороных конях, продвигался, зажженный горячей медью труб, полковой оркестр. Большой барабан сотрясал покой спавших улиц:

бумм – боммбумм – бомм...

Андрей опустил на подоконник и закрыл ладонями лицо.

Люди вспомнили, что на свете существуют короли. Их совершенно реальное бытие вдруг стало очевидно после того, как ослепительное слово

Эрцгерцог!

ворвалось в гармонию, сломало ритмы, исказило размеры, обезобразило тембры.

Оказалось, что короли живут не только на страницах журналов, обозрений и по витринам фотографов. Оказалось, что короли не только путешествуют, переезжают из зимних резиденций в летние, улыбаются на портретах и ежегодно празднуют тезоименитства. Оказалось, что короли не только в истории и географии, то есть – в сущности – на школьных скамейках. Нет!

Короли жили в действительности, по-настоящему. У королей в самом деле были черепа, относившиеся к пулям точно так же, как черепа их подданных. И короли настолько хорошо кричали, что голоса их были слышны в очень отдаленных от резиденций местностях.

И, боже, какое множество обнаружилось вдруг королей! С каждым днем и с каждым часом они выползали из своих резиденций, как тараканы из щелей. В конце концов они запорошили собою все уголки газет, и пришло время положить предел этому царственному беспорядку.

Довольно слушать разноголосицу, довольно вдумываться в неразбериху, довольно портить глаза на всех этих нотах, меморандумах, волеизъявлениях и манифестах, довольно!

Разве еще не ясно, куда зовет вас чувство долга?

Слушайтесь этого чувства – чувства долга! Только его, ничего больше!

Оно приведет вас на улицу, в толпу, и толпа вскинет вас на свои плечи, как волна вскидывает щепку на свой гребень. И вы устремитесь к дому сербского торгового консула, и чувство долга выдавит из ваших внутренностей вопль негодования. И потом вы будете бить палкой по запертой парадной консульства, пока к вам не подойдет шуцман и не объяснит, что вы ошибочно думаете, будто бы порядок позволяет портить двери. И тогда чувство долга повле-

чет вас по улицам к дому итальянского торгового консула, и вы будете петь национальный гимн и кричать «Vivat Italia!», пока к вам снова не подойдет шутман и не посоветует пойти домой, потому что наступает полицейский час и шум нужно прекратить. И хотя чувство долга и охрипшее горло умеряет ваш пыл, вы все-таки будете кричать, и негодовать, и гневаться, потому что – ужели жизнь зазвучит прежней гармонией после освежающей грозы? ужель не суждено испытать прекрасной долгожданной перемены? ужель – опять благословенный, тяжелый, гармоничный мир? О, никогда! Ни за что! Перемены, перемены, перемены!

Мы требуем, мы хотим, мы жаждем перемены!

Тогда слушайте чувства долга.

Толпа ярилась у парадной сербского торгового консула, и в толпе были Андрей и Курт. Но они не видали друг друга. Потому что если принять толпу, заключенную между сторон улицы, за прямоугольник, то Андрей находился в одном конце диагонали, а Курт – в другом. И этот другой конец диагонали приходился как раз у парадной консульства, а первый – там, где стояли люди, не проникшиеся чувством долга или – от природы – лишённые его.

Механика народных толп на городских улицах имеет свои законы, и эти законы, конечно, не могут быть нарушены столь внешними явлениями, как человеческая дружба.

И когда толпа повернулась и пошла назад, к дому итальянского торгового консула, – Андрей очутился впереди шествия и возглавлял его до первого проулка.

Там он юркнул за угол и – по окраинам – бросился к Курту.

Узнав от фрау Майер, что ее жилец не был дома с утра, он прошел к нему в комнату, разыскал на столе клочок бумаги и попавшимся под руку коричневым пастельным карандашом жирно написал:

*Что с тобой, Курт? Я заходил дважды. Приду завтра утром. Я измучен.
Андрей.*

Назавтра солнце взошло двумя с половиной минутами позже, чем в предыдущий день. В остальном рассвет не был сколько-нибудь замечателен.

Как всегда, около семи часов утра на улицах появились велосипедисты с мешками и корзинами на горбах. Шурша шинами, велосипеды катились под окнами Курта вправо и влево.

Те, что катились вправо, несли на своих седлах рабочих Иоганна Фабера.

Как всегда, рабочие составили велосипеды в обширном гараже, в стойках, и поднялись в гардеробную. Там каждый открыл свой шкафчик – с отдельным замочком под номером и фамилией рабочего, – снял с себя пиджак, отстегнул манжеты, целлулоидный воротник с манишкой и, повесив все это в шкаф, облачился в холщовую блузу.

В семь часов все стояли на своих местах.

В семь часов мастер Майер вступил во вторую смену огнепостоянной печи.

Измерительные аппараты, радиационные пирометры находились в соседнем здании, где за шкалами, таблицами и метрами сидели неподвижные люди, которые на социальном силовом уровне выжимали одним делением больше обыкновенного мастера. Воздушные провода, звонки и телефоны соединяли этих людей с Майером, и он осуществлял их повеления, как моряк – сигналы лоцманской башни.

Он смутно представлял себе отсчеты неподвижных людей, сидевших за пирометрами в соседнем здании. Он знал только сигналы, рождавшиеся по их воле, и по сигналам мог уверенно сказать, какой номер штифта обжигается в печи.

Он верил в лоцманскую башню – и еще в то, что там – за люками, винтами, за бетонированной, ожеженной стеной – пространство, которому имя печь, может быть нагрето до 1300 градусов.

До 1300 по Цельсию.

Он верил в это, мастер Майер.

Ежедневно в полдень рабочие подходили к рукомойникам, отдавали должное фабричному мылу и фабричным полотенцам, облачались в целлулоидные воротники и манжеты и шли в гараж за велосипедами.

В этот день они подошли к рукомойнику в десять часов утра и велосипедов не брали.

В десять часов утра в помещение огнепостоянной печи зашли двое.

– Вот что, Майер, – сказали они, – мы сегодня идем на улицу. Мы против войны. Идем с нами.

– Против войны? – переспросил Майер. – Это хорошо. Но у меня – печь.

– Это верно, Майер, у тебя печь. Но мы думали, что у тебя, кроме того, и голова...

Майер вскинул брови и пожевал так, будто держал во рту чубук.

– Но ведь я говорю вам, что я против.

– Ну, так идем.

– А печь?

– Тогда отпусти рабочих.

Майер отошел в угол, вынул из кармана табак и низким баском пробурчал:

– Я ничего не знаю...

А через четверть часа взлохмаченный человек в коленкоровом халате ворвался в дверь и крикнул Майеру в упор:

– Майер, вы здесь?

Растерянно улыбнулся и тотчас вылетел наружу. Тогда Майер подошел к телефонной трубке и сказал спокойно:

– Пришлите-ка мне двоих на подачу. Мои куда-то провалились, черт их побери...

А еще через четверть часа к человеку, вынесшему из фабричных ворот плакат:

**МЫ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ,
ПРОТИВ ВОЙНЫ!**

подошел полицейский инспектор, вынул из его рук древко и, передавая плакат шуцману, сказал:

– Отнесите эту дрянь в участок.

Позади человека, у которого отняли плакат, колебалась не плотная, бесформенная толпа. Позади инспектора, вычерченная по мостовой, протянулась ровная линия шуцманских мундиров. В течение минуты толпа смотрела на мундиры. Потом она начала редеть, потом растаяла, и последний из толпы – тот, кто вынес на улицу плакат, – тихо вернулся на фабричный двор и закрыл за собой чугунные ворота.

Это было без четверти одиннадцать.

И в этот час Андрей третий раз подошел к дому, где жил Курт.

Он остановился у дверей, чтобы перевести дыхание.

Взгляд его упал на скомканный клочок бумаги, валявшийся на тротуаре, под окном Курта. Его что-то толкнуло вперед. Он нагнулся, поднял бумажку и развернул ее.

Надорванная, смятая, замазанная коричневой пастелью записка кончалась словом:

Андрей.

Цветы

На Майере была вязаная куртка с кармашками на груди. Из одного кармашка в другой бежала цепочка. Из рта – беззубого, приятного, окруженного седоватой щетинкой бороды и усов, – спускался длинный чубук. Трубка лежала на животе. Живот был толст, но не оттого, что Майеру хорошо жилось и он ел много ветчины, а просто Майеру стукнуло шестьдесят, и живот, довольно потрудившись над картофелем, салатом и ливерной колбасой, живот Майера просто немножко отвис.

Восемнадцать лет, как Майер – мастер, но все еще не может позволить себе роскошно отоплять все комнаты своей мансарды и самую большую (на юго-восток) отдает внаймы.

И теперь, после обеда, раскурив трубку, Майер зашел к своему жильцу – фантазеру, чудаку, а в общем, славному парню – художнику Курту Вану.

Славный парень стоял у раскрытого окна и смотрел вниз, на улицу.

– Что только творится на божьем свете!.. – сказал Майер, подбирая губами чубук.

Славный парень не отозвался.

– Дело будет, пожалуй, покруче, чем в семьдесят первом...

Славный парень застукал башмаком об пол.

– Как только подумаешь... – начал снова Майер и пощелкал языком: – Тц-тц-тц-тц-тц...

Славный парень, не поворачиваясь, спросил:

– Что нового, герр Майер?

Хозяин пососал чубук и присел на диван, отодвинув от него пыльные подрамники.

– В каждом мастерстве есть свой порядок, который можно понять, если присмотришься. Я смотрю на ваше мастерство и не понимаю ничего. Когда вы скажете, герр Ван, чтобы моя жена вытерла у вас пыль?.. Нового? Все то же: одна глупость.

– Долг, по-вашему, тоже глупость? Негодование, гнев – тоже?

Курт повернулся, ударил себя кулаком в грудь, вскрикнул:

– Когда вот здесь – как кипятик, как огонь! – и опять стал лицом в окно.

Майер пыхнул дымком.

– Я прошлую ночь не спал, герр Ван. Я думал, герр Ван. Так что моя жена хотела положить мне на подошвы горчичники. Мне пришли такие мысли в голову, герр Ван. Я стою столько лет у своей печи, вы знаете. Мой приятель – художник Ван, который не дает вытереть пыль у себя в комнате, – ходит за город рисовать с натуры, а потом пишет картины. Меня и моего приятеля никто не обижал, и нам не на что оскорбляться. И вдруг...

– Нация, герр Майер, нация, народ! – крикнул в окно Курт.

– Я понимаю, герр Ван. Но я думал, герр Ван... Может быть, мне надо было послушаться насчет горчичников: это оттянуло бы кровь от головы. Я думал, почему так устроено? Почему я должен оскорбиться на...

Курт перебил:

– Бывают случаи, в которых думать нельзя. Вы меня простите, герр Майер, но вам дали пощечину, а вы философствуете.

– Я узнал об этом вместе с вами, из газет, на вторые сутки, по телеграфу. А когда она раздалась, эта пощечина, я мирно спал с женой.

Курт оторвался от окна, подбежал к хозяину, подергивая головой, сдавленно прогудел:

– Я просил вас, герр Майер, не говорить со мною на эту тему.

– Я не думал, что вы такая горячая голова, – ответил Майер и подобрал губами чубук. – Я и не хотел поднимать эту тему. Вы сами спросили меня, что нового. Я хотел рассказать, что случилось со мной сегодня перед обедом...

Майер открыл крышечку трубки, умял пальцем табак и пососал чубук.

– Утром меня зовут к телефону. Говорят: в обед заехать в контору. Заехал. Второй директор, герр Либер, идет мне навстречу, протягивает руку и говорит: правление поручило мне выразить вам, герр Майер, от его имени благодарность за то, что вы проявили чувство долга и не оставили своего поста во время имевшего место беспорядка. Я говорю ему: герр директор, но ведь печь, она ведь... Тут подносят ему бумагу, и он спрашивает, что это. Ему говорят – лист, штрафной лист. Тогда он вынимает из кармана карандаш – в серенькой оправе, наш патент, самое последнее слово, знаете, герр Ван, штифт подается механически, ни давить не надо, ни вывинчивать, механически, – перелистывает бумагу, и я вижу – лист за листом, лист за листом, но не считаю, а смотрю на пальцы директора. Такие длинные и такие белые пальцы. Поверьте, герр Ван, я только и думал, что вот никогда у меня не было таких пальцев, даже в молодости, и что вовсе не от работы не было, просто – совсем у меня другие пальцы, от рождения. Герр директор перелистал бумагу и легко так карандашом скользнул, где надо было, и опять подает мне руку и говорит от имени правления. Я ему пожал руку – рука совсем без костей, – говорю, что печь, она ведь... и все такое, а сам ни о чем не могу думать, кроме пальцев. Так и вышел. Прошел двором, взял велосипед, повернул ногой педали и тут вдруг говорю себе: стой, старый Майер, стой! Ведь ты нагадил, наверно нагадил, если получил благодарность, когда вся фабрика, все рабочие...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.